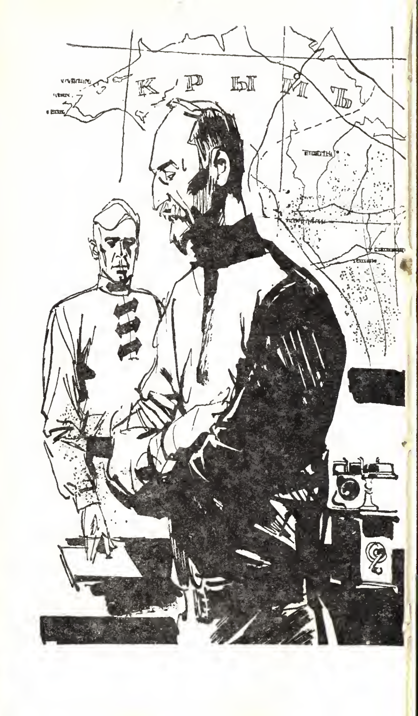
А. НАГОРНЫЙ
Г. РЯБОВ

Я — ИЗ КОНТРРАЗВЕДКИ


КРЫМЪ

А. НАГОРНЫЙ
Г. РЯБОВ

Я — ИЗ КОНТРРАЗВЕДКИ

ПОВЕСТЬ

Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1981

Р2
Н16

Художник Г. Новожилов

Нагорный А. П., Рябов Г. Т.

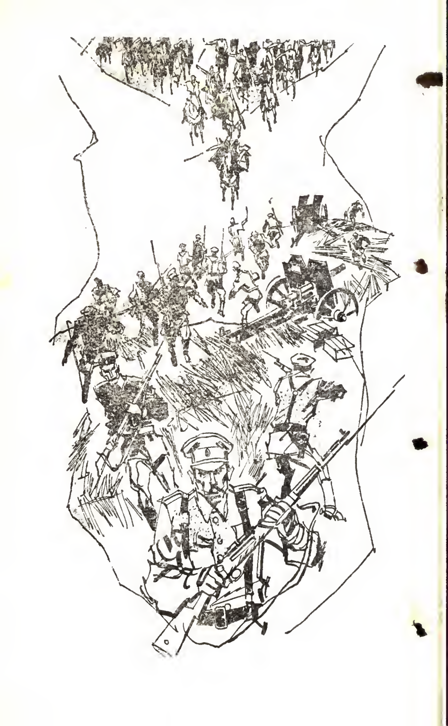
Н16 Я — из контрразведки: Повесть/Худож. Г. Новожилов — М.: Сов. Россия, 1981.— 240 с. ил.

Читатели хорошо знают лауреатов Государственной премии СССР А. Нагорного и Г. Рябова, авторов книги «Повесть об уголовном розыске» и сценария фильма «Рожденная революцией». В новой повести действие разворачивается на фоне исторических событий двадцатых годов. Молодая Советская Республика напрягает силы в одном из последних боев гражданской войны — с Врангелем. Главный герой повести чекист Марин должен разоблачить матерого врага, пробравшегося в ряды ВЧК. Марин выполняет задание, а затем проникает в логово врага, чтобы приблизить окончательную победу Красной Армии над «черным бароном».

Н $\frac{11302-091}{М-105(03)81}$ без объявл. 0505030202 Р2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСОБАЯ ИНСПЕКЦИЯ



Только теперь начинаешь понимать, что это были за удивительные легендарные годы 18—19—20-й. Им не повториться дважды, дважды никто не родится, в том числе и пролетарское государство.

Дмитрий Фурманов

Порыв ветра донес унылый бой курантов: ровно четыре удара. Струве стряхнул зонт: над Парижем висели низкие серо-коричневые облака и лил унылый, совсем русский дождь. Вытащил хронометр на массивной золотой цепочке — подарок воронежских земцев. Кажется, это было в 904-м? Да, верно. Тогда он еще ходил в марксистах либерального толка и был очень популярен у этих брюхатеньких сытых мужчин, мечтающих о думской карьере и будуаре Кшесинской. Сластолюбцы, черт бы их всех побрал. Проговорили Россию, проклятые болтуны, и вот, кажется, финиш...

Нажал репетир. Часы мелодично вызвонили десять раз, и Струве нервно и зло сунул их в карман. Время обеда, а он торчит здесь, на кладбище Пер-Лашез. Всё разладилось, всё! И наладится ли теперь? Ох, уж нет... Слава богу, он не на трибуне и врать незачем.

Вокруг чернели мраморные кресты надгробий. С них стекала вода. Аллею замыкал пилон в духе древнеегипетских, с барельефом: вереница людей медленно уходила в ворота небытия. «Ничего,— подумал Струве,— и это пройдет. Мудрый Соломон тысячу раз прав: в радости мы всегда ждем печали, в горе — томимся ожиданием избавления. Таков вечный круговорот жизни. Его никто и никогда не мог изменить: ни халдеи, ни Маркс, не изменит и господин Ульянов, ибо все суета»... Он вдруг почувствовал, что за спиной кто-то стоит, и оглянулся. Это был человек лет сорока в поношенном пальто, со шляпой в руке. По длинному носу стекала дождевая вода, смешно отделяясь капельками от изогнутого кончика: кап, кап, кап. Карие, глубоко посаженные глаза неторопливо ощупывали, словно фотографировали. «Явился,— подумал Струве.— А куда ему деваться? Денег нет. Вряд ли ел сегодня. Озлоблен и не-

доверчив,— он присмотрелся к незнакомцу.— Интеллект минимальный... Впрочем, в письме Врангеля много красивых слов. А нужен ему прозаический костолом. И если так, то этот упырь вполне сойдет».

— Господин Крупенский,— приподнял Струве шляпу,— у вас должно быть мое письмо.

— Вот оно. Чему, собственно, обязан?— Тот, кого Струве назвал Крупенским, протянул мятый конверт.

— Меня зовут Петр Бернгардович,— слегка наклонил голову Струве.— Я бы хотел иметь с вами разговор доверительный и вместе с тем вполне официальный.— И, заметив, как собеседник едва заметно пожал плечами, продолжал: — Вы сын кишиневского предводителя дворянства?

— Младший, если вам угодно.

— Служили в департаменте полиции?

— Прежде я окончил Петербургскую академию художеств,— мрачно заметил Крупенский.

— О-о-о,— насмешливо прищурился Струве.— Как вы находите этот памятник? — он повел головой в сторону пилона.

— Бартоломе — художник гениальной минуты. Эта минута перед вами,— Крупенский снова пожал плечами. Видимо, вопрос показался ему тривиальным.

— О-о-о...— уже другим тоном протянул Струве и с нескрываемым любопытством посмотрел на собеседника.— Вы знаете мое официальное положение здесь, в Париже?

— Не знал бы, не болтал бы с вами,— резко сказал Крупенский.— Говорите, наконец, в чем дело?

— Та-ак,— помедлил Струве, слегка смущенный такой независимостью и таким напором.— Вас рекомендовал Павел Григорьевич Курлов... Вы понимаете?

— Благодарите генерала Курлова. Что ему угодно?

— Курлов — это здесь, в Париже,— невозмутимо продолжал Струве.— Там, у Врангеля, вас хорошо знает по отзывам в послужном списке генерал Климович. Вот письмо его превосходительства генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича Врангеля...— Струве подтянулся и вскинул голову.— Правитель Юга России и главнокомандующий русской армией поручает мне официально просить вас, Владимир Александ-

рович, отбыть в Крым, в Севастополь, и взять на себя миссию помощника Климовича.

— Генерал не справляется...— насмешливо хмыкнул Крупенский.— Ай-я-яй, какой пассаж...

— Владимир Александрович,— Струве подошел к памятнику,— вы видите: все обречены. Еще мгновение, и последние скроются в этих вратах, откуда нет возврата. Но взгляните: среди всеобщего уныния, скорби и отчаяния есть все же человек, который думает не только о себе.— Струве театрально протянул руку к барельефу. Там, на краю пилона, у лестницы, могучий мужчина бережно поддерживал изнемогающую, готовую упасть женщину.

— Кто же этот герой? — Крупенский смотрел Струве прямо в глаза, и было непонятно, насмехается он или спрашивает вполне серьезно.

— Этот герой — Врангель,— сказал Струве.— Это вы, если угодно, это мы все, несчастные русские люди.

— Скажите,— вдруг оживился Крупенский,— кто придумал этот текст: «Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом и буржуазией до полной победы социализма»? Это, кажется, на Первом съезде РСДРП сказано?

Струве молчал. Крупенский взял его за руку и подвел к центру памятника:

— Взгляните сюда... Этот старик уже мертв, но еще цепляется за край гробового входа. Кто он? Молчите? Тогда слушайте. Двадцать два года назад вы и такие, как вы, следуя моде и непомерному честолюбию, написали только что процитированные мною слова. Вы и такие, как вы, сделали все, чтобы Россия исчезла с лица земли, а ее вождь, ее государь мученически умер в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, и вот теперь, когда все кончено, вы предлагаете мне работать с генералом Климовичем... Нет, милостивый государь... Измену надо было давить в зародыше. А теперь добровольческие армии отдали свои жизни за мираж...

Струве раскрыл зонтик:

— Я вас так понять должен, что вы отказываете его превосходительству... Хорошо. Встретимся на площади Согласия через два часа. Вы все же подумайте...

Крупенский натянул «котелок» на уши и поднял воротник пальто:

— Я ничего не обещаю.— Он повернулся к Струве спиной и четким военным шагом двинулся к воротам кладбища.

Струве долго смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом кладбищенской дорожки. «Что ж,— думал Струве,— как ни крути, а он прав. Белое дело обречено, оно доживает последние дни. Пусть Запад признал правительство Врангеля, пусть в Крым еще поступают последние транспорты с оружием, патронами и снарядами, но армии красных у ворот Крыма, у Перекопа. Англичане отвернулись, американцам нет больше никакой выгоды, а без выгоды они и пальцем не пошевелят. На то они и янки-дудль. И черт бы их всех побрал, жадных, расчетливых иудушек, готовых выдернуть из-под головы умирающей матери подушку, дабы тут же ее выгодно продать. Орава смрадных подонков в смокингах и цилиндрах, с дежурными улыбками, с дежурными словами. Прав Крупенский: продали, промотали Россию, и теперь тысячелетний, истомившийся жаждой крови и разгула хам, его величество пролетарий «окажет» себя во всей красе, пустит юшку либеральствующим идиотам, сюсюкающим интеллигентам в пенсне, пропади они все пропадом...» Он смачно плюнул и растер плевок ногой и тут же удивленно подумал про себя, что безнадежно утрачивает и лоск, и манеры и помешать этому бессилен даже Париж.

Он вышел из ворот кладбища и взмахнул зонтиком, чтобы подозвать экипаж. Зацокали подковы, с кóзел свесился изящный кучер: «Мсье?»

— Проваливай,— вдруг хмуро, по-русски сказал Струве. Он подумал, что денег осталось в обрез, а еще предстоит дать прием по случаю дня рождения главы русской миссии в Париже Маклакова и пригласить на этот прием весь дипломатический корпус. И хотя конец от Пер-Лашез до резиденции русского представительства всего ничего — один франк,— тем не менее копейка рубль бережет, как любили повторять умные люди в России. Может быть, еще и один франк что-то решит, что-то изменит... Он рассмеялся: какая глупость. Встретил изумленный взгляд кучера, пожал плечами: — Я либерал, братец, и предпочитаю муниципальный тран-



спорт. Ты уж извини меня, старика,— и легко взлетел на империал — второй этаж конки, благо вагон затормозил перед самым носом. Опустился на жесткое сиденье, поморщился — костистым стал зад, стариковским... Эх, с ярмарки едем, с ярмарки... И чего уж там — к вечному своему дому подъезжаем... Треньктул звонок, мысли приняли другое направление. Согласится или не согласится Крупенский? В сущности, ему, Струве, было все равно. После разговора с этим странным человеком, не то знатоком искусства, не то полицейским шпиком, он как-то вдруг ощутил, что жизнь из него, Петра Бернгардовича Струве, вытекает уже не стопочками, не стаканами, а целыми самоварами и теперь эта жизнь так, чуть плещется на самом донышке. И все-таки — согласится или нет... Честолюбив, это видно. Умен, это понятно.

Струве рассмеялся: это теперь, так сказать,— «апостериори» понятно. Черт знает что! Вроде бы претендуешь на знание физиогномистики и считаешь, что накопил в этом далеко не простом деле огромный опыт, а на поверку получается решикса какая-то! Физиономия трактирного полового, а мыслит забавно. Диалектически мыслит. Ах, Крупенский, Крупенский... Жаль тебя... Шансов на успех в Крыму мало — один на миллион. Ну а с другой стороны, здесь, во Франции, и этого шанса нет. А там, в Крыму, он, глядишь, взметнется в последнем полете и обретет себя и, уж если придется уходить из жизни, уйдет на крыльях. Конечно, это будут черные крылья. Скольких он успеет замордовать, запороть, повесить и расстрелять. Рабочих и всяких прочих... Струве подумал было, что ему, хотя и бывшему, но марксисту, такие мысли не к лицу, но потом вздохнул и сказал вслух: «Химера, все химера. Сами себе придумываем всякую чушь и верим в нее, и повторяем, как молитву, а ведь нет ничего на самом деле: ни чести, ни совести, ни долга. Выгода есть. Сиюминутная, как правило, а у тех, кто похитрее,— однодневная, и редко у кого более долгая. Вчера он, Струве, был марксистом, и за ним следили люди начальника русской заграничной агентуры Гартинга, сегодня он верный пес генерала Врангеля и сам следит за марксистами и немарксистами, за всеми врагами издыхающего режима. Диалектика! Увы...»

Рядом покачивался старик с вислыми усами и прямой спиной отставного военного. Он брезгливо отодвинулся от Струве и сказал: «Эти русские — выродившиеся психопаты, они поедают наших цыплят и свежую баранину. Все дорожает по вине Чичерина и Ленина. Вот что я думаю».

У Крупенского денег не было даже на конку. От Пер-Лашез до улицы Кювье, где он снимал мансарду в старом полуразвалившемся доме, напротив зоологического сада, он шел пешком. Он шел и думал о том, как переменчива жизнь и судьба и как она, в сущности, зла и своенравна. Ему теперь сорок лет. Он родился в восьмидесятом, в Кишиневе. Его отец, предводитель дворянства и камергер, дал ему вполне пристойное воспитание, определил в Академию художеств. Матушка любила живопись и была убеждена, что акварельки десятилетнего Вовы — верх совершенства, а он и в самом деле любил краски, он понимал их язык, он умел с их помощью выражать свои самые, как ему казалось, сокровенные мысли. Казалось... Позже, в академии, он понял, что если и отпустил ему господь бог нечто, то уж никак не талант, а в лучшем случае то, что именуется скромным словом «способности». Он это скоро понял. Ведь рядом с ним однокашники расплескивали по холстам удивительные краски. Да вот хотя бы Сережа Марин — друг детства и юности, которого так любил и ценил профессор Ефим Ефимович Волков. Все отпустила природа Марину: верный глаз, твердую руку и то, изначальное, от бога, чем обладали, наверное, самые великие — от Леонардо до Сурикова и Врубеля. Сгинул Сережа, исчез после громкой выставки здесь, на Монмартре. Сплетничали, что Марин замешан в какой-то афере большевиков, но в это было трудно поверить. Марин и политика... Нет, невозможно...

Крупенский кивнул консьержке, торопливо поднялся наверх. Комнату свою он не запирал, красть у него было нечего. Вытащил из тумбочки початую бутылку самого дешевого коньяка и кусок засохшего сыра, налил в давно немытый стакан... За успех... А будет ли он? И ехать ли к Врангелю? А если это последний

шанс? Нет, единственный! Он вспомнил: в Петербурге, в 909-м, осенью, он шел по Астраханской, на Выборгской стороне, шел на Сахарный, к любовнице. Она была простая швея, но красивая и ядреная, а он в женщинах больше всего ценил страсть и умение, не страдал в этом смысле сословными предрассудками. У дома № 25 его остановил сильный взрыв в одной из квартир второго этажа. Через минуту на улицу выскочил молодой человек с опрокинутым лицом и полоумными глазами. Крупенский подставил ему ножку — так, по инерции, чисто интуитивно догадываясь, что стал свидетелем террористического акта или, как это тогда называли, «акта революционного правосудия». Террорист грохнулся на булыжную мостовую лицом вниз и остался лежать. Из-под головы растеклась лужа крови... Через два часа Крупенский узнал, что этим взрывом был убит начальник Санкт-Петербургского отделения по охранению общественного порядка и безопасности полковник Сергей Юрьевич Карпов. А задержал он, Крупенский, члена партии эсеров Александра Ивановича Петрова. Все эти подробности ему выложил, улыбаясь не к месту и не ко времени, благообразный, похожий на преуспевающего финансиста, Курлов, товарищ министра внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов.

— Знаете, молодой человек,— сказал Курлов,— отчего это все произошло? Если хотите, от бездарности нашего аппарата. Мало толковых людей, еще меньше образованных. Вы художник?

— Да-а, ваше превосходительство.

— Идите служить к нам.

— Н-не понимаю,— растерялся Крупенский.— Как же это?

— Да уж так... У вас рефлекс, реакция... Как Петрова-то? А? Тут и опытный филер спасовал бы. Пока то, пока се. А вы — р-раз. Плюс образование, воображение, нюансы... Так что же?

Может быть, он был авантюристом? Он согласился.

...Выпил коньяк, откусил сыр и тут же, сморщившись, выплюнул. Когда приходил к Нюре — так звали швею,— она его водкой угощала и сама пила, чтобы не было стыдно. Потом раздевала его, а сама оставалась в чулках и туфлях. Не лишена была своеобразной

эстетики. А еще говорят, что женщины из народа в любви, как утюги чугунные. Это неправда, это поклеп на женщин из народа. Уж он-то знает...

Он снова выпил. Что же делать? Соглашаться? Подумай, подумай, подумай... Главную роль играть не дадут. Смешно. Климович и сам с усам. Значит, вторые роли. Но разве на вторых ролях не может умный человек обеспечить себе главное в жизни? А что оно, главное? Да деньги, черт побери. Все остальное — поток мутных слов. И те и эти произносят слова о родине, свободе, вере и верности, а все упирается только в деньги. Дензнаки: фунты, доллары, франки, динары, пезеты, кроны и как их там еще... Чем больше, тем лучше, остальное — для идиотов. А так ли это?

25 июля 1918 года Екатеринбург был взят от большевиков войсками Сибирской армии и чехами. Он встретил эти войска у дома инженера Ипатьева. Он сказал казачьему офицеру, который спрыгнул с взмыленной лошади: «Государь император и вся августейшая семья расстреляны здесь, в ночь на семнадцатое. Мы пытались их спасти, мы не смогли».

В комнате первого этажа, у восточной стены, они преклонили колени, и он негромко начал: «Упокой, Христе боже, души раб твоих». Все подхватили. Под сводчатым потолком глухо разнеслась «Вечная память».

Господи, зачем же это все, если нет чести, нет верности, нет долга и нет любви? Он сжал голову руками, она лопалась, она раскалывалась на куски, его несчастная голова. Он застонал, потом закричал, как раненый зверь, словно этим криком хотел выплеснуть из себя мутную жижу, которая душила его.

В назначенное время он подошел к обелиску на площади Согласия и осмотрелся. У ворот сада Тюильри стоял Струве. Он играл тростью и провожал явно заинтересованным взглядом каждую проходившую мимо женщину.

«Галант чертов,— лениво, без раздражения подумал Крупенский.— Кто их, этих рамоликов, этих мастурбаторов восьмидесятилетних, поймет. То они долдонят об умирающей отчизне, то с трудом удерживают в брюках прыгающую плоть». Он подошел к профессору и снял «котелок»:

— Я тщательно все обдумал. Я согласен. У кого я должен получить директивы?

— Вот пятьсот франков.— Струве протянул конверт.— Считать не трудитесь. Конверт запечатан. Сегодня же выедете в Гельсингфорс. Вас встретят и переправят в Петроград надежным путем. Все инструкции вы получите на месте, у нашего резидента.

— Не проще ли сначала в Константинополь, а оттуда в Крым? — удивился Крупенский.

— Такова воля правителя,— сказал Струве.— Эта «шелковка» удостоверит вашу личность, цель вашей миссии.— Струве протянул Крупенскому лоскуток материи.— Подписана Маклаковым, вы знаете, это полномочный представитель крымского правительства. И Ладыженским, это начальник разведки. Если у вас нет вопросов, честь имею.— Он приподнял шляпу и зашагал, не оглядываясь.

Дома он вынул из сейфа и еще раз перечитал личное послание Врангеля:

«Милостивый государь, Петр Бернгардович,— стояло в нем.— Ссылаясь на генерала Курлова, Климович настойчиво рекомендует разыскать подполковника Крупенского, младшего сына кишиневского предводителя и камергера Александра Николаевича. Прошу вас встретиться с Курловым и просить его от моего имени способствовать прибытию младшего Крупенского в Севастополь. Трудно признавать собственные ошибки, но старая русская мудрость утверждает, что лучше это сделать поздно, нежели не сделать совсем. Я — боевой генерал и всегда был чужд жандармских и прочих проблем такого рода. К сожалению, в нашем положении дело разведки и контрразведки едва ли не одно из самых важных. Между тем оно в руках совершенно случайных, невежественных и алчных людей. Грабежи, убийства на денежной почве, наветы, и грязь, и кровь без смысла и цели — вот то, чем живет у нас проклятый наследник секретного отдела Освага* — нынешняя контрразведка. Нужен, крайне нужен свежий, умный и знающий человек, который сможет помочь талантливому, но измотанному Климовичу поставить дело, если уже не слишком поздно».

[1] Осваг — Осведомительное агентство при А. И. Деникине.

Струве смял письмо, скривил губы не то в улыбке, не то в гримасе осуждения. «Поздно, ваше превосходительство,— тихо сказал он.— Как это выразился господин Крупенский? «Добровольческие армии отдали жизнь за мираж»? Именно так и есть».

К вечерне Крупенский пошел на улицу Дарю, в русскую церковь. Молящихся было мало, шел дождь, и голодные, плохо одетые эмигранты предпочитали отсиживаться по обжоркам и распивочным, как их там ни называли на французский манер, а для русского человека они были именно обжорками, желанным пристанищем, в котором можно было без помех выпить и закусить. На паперти Крупенский увидел обрюзгшего, лет пятидесяти генерала, в русской форме без погон, и с трудом узнал бывшего дворцового коменданта Воейкова. Тот тоже заметил Крупенского и бросился к нему, раскрыв объятия.

— Ваше превосходительство,— растерянно сказал Крупенский, нерешительно отвечая на мокрый поцелуй,— с благополучным прибытием, с избавлением от рэ-сэ-фэ-сэ-эр!

— Чего уж там,— горько махнул рукой Воейков.— Знаешь, в чем меня обвиняют? В том, что я его бросил, бросил еще там, в Могилеве, в ставке, веришь ли? — Он зарыдал.

— Владимир Николаевич, по чести сказать, я и сам так думал,— не удержался Крупенский.— Да дело-то ведь — прошлое... Успокойтесь. Чего уж там...

— Кто и что знает,— тихо сказал Воейков.— Никто и ничего! Вот, все теперь говорят, что он от престола отрекся, как эскадрон сдал. Равнодушный, тупой... Ах, Володя. Он меня в свое купе вызвал и у меня на плече зарыдал. Измена, говорит, кругом и трусость, и подлость. Так-то... Ты-то как? Отец?

— Он умер. А мне жить здесь не на что... Так что я теперь... в Америку уезжаю,—соврал Крупенский.— Открою там трактир русский. Назову «Подвал». Столы поставлю, стулья с кандалами, и все это в подвале каком-нибудь устрою. Стану богат... Давайте со мной? Вместе щами торговать станем.

— Стар я, Володя,— Воейков вытер покрасневшие

глаза.— Жалко царя. Всех жалко. А может быть, неправда это? — Он с тоской вгляделся в лицо Крупенского.

— Увы! — развел тот руками.— Расстреляны все.

— Ка-ак?.. — опешил Воейков.

— Наш человек из охраны Дома особого назначения, это так большевики дом Ипатьева именовали, предупредил меня за два часа до акции, в десять часов вечера... Я задами пробрался к самому дому.

— Там, в охране, был наш? — переспросил Воейков.

— Был.

— Кто же? Офицер?

— Нет, рабочий. Сочувствовал семье,— искривил губы Крупенский.

Из открытых дверей храма повалила публика. Крупенский перекрестился и сошел по ступенькам паперти вниз на мостовую. Оглянулся: Воейков смотрел ему вслед ошеломленно и осуждающе.

На территорию РСФСР Крупенского переправили из Финляндии. Границу он перешел около Белоострова. Через час он уже шагал по пустынным улицам Сестрорецка, а еще через два часа на попутном извозчике добрался до Новой деревни и сел на трамвай. В Петрограде светило не по-осеннему яркое солнце. Обычно в это время с утра и до вечера шли унылые моросящие дожди, они вымагывали душу и наполняли сердца городских обывателей безысходной тоской. Под стук трамвайных колес мысли легко уносились в прошлое. Шесть лет назад, в канун войны четырнадцатого года, Крупенский стал посещать бар Европейской гостиницы. Он зачастил туда по делам охраны. В ресторане веселились иностранцы, изредка попадались и функционеры революционных партий, а то и просто шпионы. Обнаружить их среди праздничной нарядной толпы было далеко не простым делом. За стойкой с уверенностью профессионального жонглера манипулировал стаканами и бокалами черный бармен, выписанный из Кентукки, румынские скрипачи в красных фраках рыдали у столика великого князя Александра Михайловича, женщины с огромными глазами кокаинисток предлагали тьму во-

сторгов затянутым в ремни французским офицерам и чопорным англичанам в смокингах. Все это ушло в невозвратную даль. Он вдруг вспомнил Новороссийск, вопящую толпу, трапы, с которых падали в море никому не нужные эмигрантские дети, и разбитое в кровавый ошметок лицо кавалерийского офицера — он выстрелил в себя из охотничьей двустволки. И гроб с телом отца... Его нужно было погрузить на пароход, чтобы потом похоронить в Вилафранке, неподалеку от Ниццы. Там на небольшом русском кладбище покоился прадед, русский посол — Евгений Крупенский. Гроб не удалось поднять по трапу, путь преградили зуавы, черные французские пехотинцы с бурнусами на головах. Их офицер, черненький, с порнографическими усиками и гнилыми зубами, улыбнулся и сказал: «Мсье, слишком много живых трупов. Пардон». Гроб так и остался на набережной. Крупенский видел его еще два часа, пока отваливали, пока выходили на рейд. Он видел его и потом, в кошмарных предутренних снах: сосновый, некрашеный, с дворянской фуражкой на верхней крышке. Под ней лежал отец, предводитель бессарабского дворянства и камергер. Черт возьми! Стоило уехать тогда, и так уехать, чтобы возвращаться теперь, и так возвращаться...

Трамвай миновал Сампсониевский мост и, звякнув, остановился на углу Финляндского и Астраханской.

«Вот судьба,— вяло подумал Крупенский.— Бог хочет, чтобы я навестил Нюру. Или этого хочу я сам? Все равно. Пойду...» Одиннадцать лет назад этот путь привел его на службу в полицию. Вот дом 25, вот окно, из которого выплеснулось пламя, вот парадное, из которого выскочил насмерть перепуганный террорист, а вот и ее окно... Вход в квартиру был со двора. Крупенский вошел в подворотню и вдруг услышал чей-то звонкий срывающийся голос. Во дворе стояла плотная толпа, все внимательно слушали женщину в красной косынке.

— Вот почему я шлю проклятье царскому режиму,— кричала женщина.— Вот почему я приветствую всей своей молодой душой Октябрьскую революцию, ту единственную и верную, которая вырвала нас, женщин, из рук капитала и превратила из игрушки похотливых скотов в активных борцов за новую жизнь!

Толпа начала рукоплескать. Женщина легко спрыгнула со стола, который служил импровизированной трибуной, и стала пробираться сквозь ряды собравшихся. С нею шутили, поздравляли, подбадривали. Крупенский оказался на ее пути, они встретились взглядами.

— Нюра,— сказал Крупенский,— здравствуй!

— А-а, художничек,— небрежно проронила она.— Слыхал, как я вас? Я тебе, милый, боле не цацка, а вообще, куда ты пропал?

— Я долго болел, товарищ,— грустно сказал Крупенский.— Если займешь значительный пост, не забудь, как я страстно любил тебя...

— Развратники вы,— сказала Нюра.— Мне объяснили, что так, как вы с нами это делали, в новой жизни делать не годится. Это все для обреченной буржуазии. А мы должны создать здоровую семью. Ясно тебе?

— Куда яснее,— вздохнул он.— Конечно, так оно, для обреченной, но... приятно было... Прощай,— он зашагал к воротам, потом остановился и обернулся. Она о чем-то весело переговаривалась с другими женщинами в красных косынках.

Он вышел на набережную. Вдалеке, на той стороне Невы, терялись в дымке великокняжеские дворцы, над гаванью шли облака. Зачем он вообще приехал сюда, зачем он вообще принял это предложение? Все это похоже на фарс или, скорее, на дурной сон, в котором в самый последний перед спасением момент набрасывают на вздувшуюся шею намыленную веревку. А может быть, он не прав? Сколько русских людей на маленьком пятачке земли — последнем оплоте чести, совести и долга — противостоит озверелым ордам большевиков? Разве не его долг — дворянина и русского патриота быть там, вместе с ними, последними? Там, в Крыму? Он подумал, что все сплелось в слишком сложный клубок, чтобы можно было вот так сразу все разложить по полочкам, понять, разобраться. Озверелые орды большевиков... Что это такое? Если быть честным до конца, это русский народ. Да, русский, точнее, российский народ, поднявшийся весь, как один человек, против подлости, против вековой несправедливости. Народ... А народ всегда прав. Это старая истина. Так что же он, Владимир Крупенский, защищает? И кого? Или та свинская мыслишка, которая вдруг мелькнула у него

тогда, в Париже, во время разговора со Струве, она и есть «парижский метр», эталон, точка отсчета? Вот, тебе дают последний шанс. Нет, не родину спасти, чего уж там лицемерить, ханжить... Тебе дают шанс нахапать, набить карманы, обеспечить бренные дни где-нибудь на лоне Ривьеры или Монако. Так что же, поехал бы ты в Крым только ради одной идеи, белой идеи, монархической идеи? Господи, сколько вопросов, и нет на них ответа... Нет, потому что истину терпеть не могут не одни только политики, ее не терпим и мы сами, и вся наша жизнь — это безнадежное и бесконечное состязание нашего продажного и лживого «я» с великой и неподкупной истиной. «Нет, вы мне покажите того, кто хоть однажды это состязание выиграл,— злорадно подумал Крупенский.— Вы мне его покажите — и мы посмотрим!» Он успокоился. Так выходило, что он, дворянин и подполковник отдельного корпуса жандармов Владимир Крупенский, далеко не самый плохой, не самый подлый житель этой бренной земли.

Резидент в Гельсингфорсе дал ему явку на Фурштадтскую, в дом, который находился неподалеку от Таврического сада. Там проживал ротмистр — кирасирский офицер фон Раабен. Этот жеребцовый, судя по фотографии, мужчина должен был служить Крупенскому помощником и личным телохранителем от Петербурга до Севастополя. Такова была идея резидента.

— Я знал Алексея фон Раабена,— заметил Крупенский.— Он был профессором Академии генерального штаба в Екатеринбурге. Академию туда временно эвакуировали, и она там застряла.

— Думаете, брат? Я не знаю таких подробностей,— сказал резидент.— Одно вам скажу: надежен, силен, глуп. И, слава богу, отнюдь не интеллигент, как, возможно, этот профессор академии.

— Полагаете интеллигентность недостатком? — холодно осведомился Крупенский.

— Почему «полагаю»? Убежден! Интеллигенция — ржа, плесень, грибок! Если что-либо подтачивает государственную власть, безразлично что, лишь бы подтачивало,— интеллигенция истекает потоком одобрительных речей. Она сама ничего и никогда не подтачивает,

она только истекает потоком. Ко всему же прочему она равнодушна вполне.

— Хм, в чем-то вы правы.

— Во всем! Эти писатели, эти зубные врачи, эти гинекологи не понимают главного. Они по недомыслию служат революции, которая есть всплеск иудо-масонства. И цель имеет одну: восстановить всемирный иудаизм на развалинах христианского мира.

— Эк вас куда,— вздохнул Крупенский.— Полагаете, что во всем виноваты евреи?

— Не евреи вообще, а евреи-интеллигенты. Возьмите ближайшее окружение Ленина.

— Да ведь там и русские есть,— не удержался Крупенский.— Ну, Луначарский, например... Да и у нас, откровенно говоря, не одни только великороссы подвизались... Вы Гартинга помните?

— Заведующего заграничной агентурой?

— Да, отдельного корпуса жандармов генерал-майора, между прочим... Его настоящее имя — Авраам Гекельман. Так что не обвиняйте большевиков...

— Оставим это,— махнул рукой резидент.— Вам не понять истинно русского человека. Вы ведь, кажется, бессарабец?

— Я — русский,— спокойно сказал Крупенский.— Предки действительно из Бессарабии, а вы, судя по фамилии, из остзейских немцев?

— Думаете, стану спорить? Нет! Немцы в России всегда были самыми русскими. Фанатично русскими. Немец — это всё для русского человека: отец, брат, учитель, старший друг.

Крупенский улыбнулся:

— Нам тяжело будет работать вместе. Ведь как-никак — вы отныне мой подчиненный.

— Уверяю вас, это совсем ненадолго,— улыбнулся резидент.— Теперь сентябрь... В ноябре снова увидимся. В Париже. А пока что я хочу вам сделать подарок.— Он выдвинул ящик письменного стола и протянул Крупенскому пистолет с необычно длинным стволом.— Последняя бельгийская новинка. Бьет бесшумно, мне не нужен, а вам... вам он поможет выжить. Мы ведь должны решить наш спор. Не так ли?

...Крупенский снова и снова вспоминал об этом разговоре. С Астраханской, от Нюры, он пошел пешком

через мост Александра II, или, как его запросто именовали городские обыватели, «Литейный».

— Подлец, чертов сосисочник! — В глазах стояло сытое и гладкое лицо резидента.— Ладно, придет время, вспомним и это.— Он остановился и рассмеялся.— Придет вре-емя... вспомним... Пустые слова, за которыми только неудовлетворенная жажда мести. Ничего и никогда не придет, ничего и никогда не вспомним, потому что впереди страдания и гибель и больше ничего, ни-че-го.

Трамваи по Литейному проспекту не ходили. Вход в Сергиевский всей артиллерии собор был накрест заколочен досками, а в Преображенском служили. Крупенский миновал ограду из турецких пушек, вошел в храм и опустился на колени напротив царских врат.

— Я плохой христианин, господи,— печально и тихо начал он,— я плохой человек, я дерьмо, всплывшее в пене революции и анархии, но я хочу сделать последнее усилие над собой и послужить правому делу. Прими мя, господи, ибо путь мой во мраке и нет у меня сил.

Потом он вернулся на два квартала назад и свернул направо, на Фурштадтскую. Нужный дом был почти у самого Таврического сада, на правой стороне. Крупенский скользнул взглядом по особняку напротив и увидел балкон и вспомнил — горько и болезненно, что этот балкон ведет в квартиру Павла Григорьевича Курлова — благодетеля и отца-командира. Здесь революционеры арестовали Курлова, отсюда его доставили в Государственную думу. Ах, сколько же раз в невозвратно счастливые времена в уютном кабинете хозяина приходилось бывать, часами беседовать и строить планы. Нет, они, конечно, не мечтали повторить грандиозный замысел Судейкина и Дегаева, они не собирались «организовать» революцию, а потом подавить ее и взойти по трупам казненных к вершинам славы. Но, видно, приснопамятный Зубатов, хотя этого и не признавали, что-то все же перевернул в душах даже самых заскорузлых розыскников. Его опыт с рабочими сообществами, его метод внедрения полиции в общественные и революционные движения был как высверк молнии во мраке тупой полицейской ночи. Зубатов погиб, но семена пали на благодатную почву.

— Знаешь, Володя,—сказал как-то Курлов,— вот уйдем мы, старики, придет черед молодых... При вас сменится власть.— И, поймав изумленный взгляд Крупенского, добавил: — Я не оговорился, Володя, трон в России не вечен, революция на носу, и она будет, хотим мы того или не хотим. Ты слушай: все пройдет, а тайный политический розыск пребудет вовеки! Несть властей без оного!

...Крупенский вошел в парадное и поднялся на третий этаж. Постучал. Открыл небритый, похожий на вышибалу третьеразрядного парижского борделя человек в засаленном халате, с чубуком в кулаке, сказал хриплым басом:

— Ежели насчет расчету за вывоз помойки, то я сполна. Извольте справиться в домкоме.

— Моя фамилия — Русаков,— назвал Крупенский свой служебный псевдоним, сразу же узнав Раабена.

— Входи, товарищ,— сказал Раабен и захлопнул дверь.— Значит, мы с вами, товарищ Русаков, поедем в столицу республики Советов — город Москву, где теперь обитает наше родное советское правительство, то есть сов-нар-ком. Предвкушаю— и потому счастлив,— он яростно потер ладонь о ладонь.

— Может быть, гаерничать не стоит? — хмуро спросил Крупенский, вешая пальто на оленьи рога.

— Ладно, давайте серьезно,— кивнул Раабен.— Деньги у вас есть? А то второй день не пимши, не жрамши. Жуть!

— Вот сто рублей,— сказал Крупенский.— Отправляйтесь на вокзал и купите два билета во втором классе до Москвы. На обратном пути — достаньте перекусить и водки. Я подожду здесь. Как у вас отношения с соседями? С властью?

— Тихие... Пару раз сажали, да улик нет: выпустили.

— Значит, у них закон?

— В горячие моменты они не церемонятся...— поежился Раабен.— Вон, Леня Канигиссер прибил Урицкого, председателя губчека. Так они человек сто в одночасье порешили.

— Почему вы так разговариваете? — не выдержал Крупенский.— Вы офицер или извозчик?

— Извините, привык,— развел руками Раабен.—

А знаете, Каннгиссер зря погиб... Я ведь обеспечивал терракт. Накануне беседовал с мальчиком. Ему всего двадцать лет было. Он стихи писал: «Балтийское море дымилось и словно рвалось на закат, балтийское солнце садилось за синий и дальний Кронштадт». Погиб Урицкий — невелика потеря для России, а тут, может быть, новый Лермонтов погиб... Ну, я пошел. Вернусь — постучу два раза, вот так... Не перепутайте. Документы у вас в порядке?

— Подлинные,— коротко сказал Крупенский.— Я был знаком с вашим братом Алексеем. Ведь ваш брат служил в Академии генерального штаба?

— Господи,— прослезился Раабен,— хоть один человек вспомнил... Какой был брат! Ученый, умный... и сгинул... Убили вместе с Колчаком в Иркутске.— Он перекрестился.

— Се ля ви,— вздохнул Крупенский.— Я думаю, мы подружимся. Ступайте.

...Раабен принес билеты через час. У него на Николаевском была знакомая кассирша. До вокзала добрались на трамвае. Улицы были полупусты, и после парижского многолюдья с нарядными женщинами и затянутыми в элегантные сюртуки мужчинами Крупенскому Петроград не понравился. Последний раз он был здесь в канун войны, в июле 1914 года. В Петроград приехал Пуанкаре, ему назначили почетный эскорт: сотню уральских казаков, его встречали восторженные толпы, и экзальтированные дамы бросали под колеса его экипажа букеты цветов. Потом — прием в Зимнем, на который пригласили и дворян, депутатов дворянской Думы. Это было ошибкой. Вышел грандиозный скандал. Большинство депутатов, эпатируя режим и его главу Николая II, явились во дворец в домашних тапочках и спортивных костюмах для езды на велосипедах. Когда проходили через Гербовый зал, в котором стояли придворные дамы в старинных русских костюмах, кто-то громко спросил: «Господа, мы, случайно, не в зоопарке?» Вызвали дворцовую полицию и выволокли разбушевавшихся дворян вон. Все это кануло в Лету — скандалы, сплетни и дворяне. Через весь фасад Николаевского вокзала тянулся огромный черно-красный плакат: «Очередь за Врангелем!» Бешено мчащийся конноармеец нанизывал на пику всех врагов Советской

власти: от Николая II до Пилсудского. Крупенского вдруг захлестнула тоска. Нет, он совсем не жалел этих смешных карикатурных человечков, которые корчились на пике, истекая черной кровью. Он не жалел о прошлом вообще, об этих навсегда ушедших бомондах, рюмочных с неграми за стойкой, публичных домах высокого класса с изощренными проститутками в строгих английских костюмах с жемчужными серьгами в ушах. Он ни о ком и ни о чем не жалел. И все же... Увидит ли он когда-нибудь еще этот прямой, как удар хлыста, проспект и золотеющий шпиль Адмиралтейства с кораблем на вершине, эту церковь о пяти куполах на углу площади и Знаменской улицы, этот странный памятник императору Александру III, на котором неряшливым почерком какого-то неведомого остроумца из «товарищей» было начертано белыми огромными буквами: «Стоит комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — идиот». Надпись была совершенно безграмотная, и это обстоятельство почему-то особенно огорчило Крупенского. И вообще, вернется ли он сюда? Что-то подсказывало ему: все, что он видит теперь, он видит в последний раз... От размышлений его отвлек Раабен. Ткнул пальцем в сторону плаката и сказал сквозь зубы:

— Завихряются «товарищи». Замечаете? Всё у них просто, всё за раз-два.

— Идемте в вагон,— сухо отозвался Крупенский.

Он не был согласен со своим попутчиком. Чутьем опытного полицейского, привыкшего профессионально, по едва ощутимым нюансам улавливать настроение толпы, он с ужасом понял, что это «раз-два» во многом, вероятно, опирается на самый искренний, самый восторженный и поэтому самый действенный порыв всего народа.

— Дай бог, чтобы я ошибся,— сказал он вслух и, натолкнувшись на изумленный взгляд Раабена, добавил: — Я подумал, что вы, мой друг, не запаслись «жратвой». Кажется, это теперь так именуется?

— Вы ошиблись,— торжествующе произнес Раабен и покачал перед носом Крупенского полотняным узелком.— Это мне презентовала любимая женщина, она знает, что я гурман. Так что предвкушайте. Правда, она всего лишь кассирша, но нам, изнеженным дво-

рянам, нужно иногда переходить на здоровую пищу низов.

Вошли в купе. На верхних полках устраивались два командира Красной Армии. Они сухо сообщили, что направляются в Москву и дальше, в Харьков, на врангелевский фронт. По внешнему виду, манере разговаривать и держать себя от обоих за версту несло офицерами довоенного кадрового выпуска.

— А еще говорят, в одну телегу впрячь не можно,— заметил Крупенский.

— Это смотря кого,— поддержал Раабен,—и в какую телегу.

Младший командир со значком комроты на длинной кавалерийской шинели внимательно посмотрел на Крупенского.

— А вы какое оканчивали? Константиновское?

— Нет-нет, —улыбнулся Крупенский.— Я — художник, всего лишь художник, вполне частное лицо, обыватель, не более того. Вот мой товарищ... Представьтесь, мой друг. Вы ведь бывший офицер.

Это было настолько неожиданно, что Раабен ошалел и заморгал и сипло, не своим голосом промямлил:

— Э-э-э... шутить изволите? Мы... з-з-э из простых.

— У моего товарища всегда была склонность к лицедейству,— упрямо улыбнулся Крупенский.— Ротмистр вы,— повернулся он к Раабену,— лейб-гвардии кирасирского ее величества полка, не правда ли?

Наверно, это было озорство, рискованное и дурацкое. Но как и всегда в подобных случаях, а они бывали в его полицейском прошлом, и бывали не раз, он захотел проверить и себя, и своего подчиненного и сыграл для этой проверки почти ва-банк. Оба краскома смотрели недоверчиво, словно сами боялись напороться на провокацию или на что-нибудь похуже.

— Господа, господа,— продолжал Крупенский,— мы с вами можем находиться по разную сторону баррикад, но это по случаю. Не так ли? А по рождению, воспитанию, убеждениям — мы вместе, мы всегда вместе. Я уверен. Мы ведь русские дворяне.

Он рассуждал просто: если эти двое с потрохами продались красным, он посмотрит на поведение Раабена и, если что, пристрелит всех троих и прыгнет с по-

езда — чего уж проще. Если же они надели красную шкуру вынужденно, от безысходности и отчаяния, тогда другое дело. Он установит с ними контакт, он склонит их на свою сторону, и вот, глядишь, образовались два новых агента у его превосходительства барона Врангеля. Разве не эта задача — создание плотной агентурной сети в войсках Южного фронта легла на его плечи с того самого момента, как он принял предложение Струве?

Старший краском — плечистый, с выпуклой грудью, обтянутой шерстяной офицерской гимнастеркой, с кривыми ногами профессионального кавалериста, смерил Крупенского презрительным взглядом:

— Вам ли, шпаку-интеллигенту, об этом рассуждать? Императорская Россия рухнула по вашей вине, чего же вы теперь хотите от нас?

— Я? Помилуй бог, ничего! — искренне удивился Крупенский.— Мы просто разговариваем. С кем имею честь?

— Васильев, Юрий Константинович,— представился краском.

— Заболоцкий,— сухо кивнул второй.— Будем пить водку?

— Моя фамилия Русаков,— сказал Крупенский.— Рекомендуйтесь, Женя,— посмотрел он на Раабена.

— М-м-м... Меня зовут Евгений Климентьевич,— сказал Раабен.

— Право,— усмехнулся Васильев,— вы, очевидно, конспирируете. Секретная миссия? Я угадал? Куда, к кому? — он явно насмехался.

Раабен вытаращил глаза, с отчаянием посмотрел на Крупенского. А тот, как ни в чем не бывало, разлил водку по стаканам и сказал:

— А вы угадали, миссия у нас секретная. Мы идем через территорию красных к барону Врангелю, и я прошу оказать нам в этом всемерное содействие...

Раабен молча хватал воздух ртом. Казалось, он сейчас упадет в обморок.

— А нервы у Жени слабые,— вздохнул Заболоцкий.— За что выпьем?

— За успех,— сказал Крупенский.

Осушили стаканы, со стуком поставили на стол и молча уставились друг на друга.

— Какого же содействия вы ожидаете? — вдруг спросил Васильев.

— Я вам дам несколько адресов. Когда вы вступите в должность и у вас появится информация, вы сообщите ее тем лицам, которых я вам укажу.

— Почему мы вам должны верить? — спросил Васильев. — А если вы — чекист?

— Ерунда, — грубо сказал Крупенский. — Слишком примитивно для провокации, да и кто вы такие, чтобы тратить время на вашу проверку? Фронтом вы командовать не будете, армией тоже. Сядете в штаб, максимум полка. Или я не прав?

— Та-ак, — сказал Заболоцкий. — Но мы оба дали Советской власти слово, слово чести.

— Вы дали присягу государю императору, — хмуро заметил Крупенский.

— А его больше нет, — развел руками Заболоцкий.

— Это обстоятельство еще более обязывает вас, — улыбнулся Крупенский. — В славе и почестях нетрудно стать другом... Ты им останься в беде...

— Кроме данного нами слова, — вмешался Васильев, — существует еще и голова на плечах. Неужели вы не видите, что возврата к старому не будет? Неужели лучше служить официантом в Париже, нежели командиром в Красной Армии?

— Вы тоже так думаете? — помедлив, спросил Крупенский у Заболоцкого.

Тот молча кивнул.

— Вот что, господа, — сказал Васильев. — На ближайшей станции вы сойдете, мы не станем вам препятствовать. Если вы на самом деле пробираетесь к Врангелю, мы не желаем вам успеха, но и губить вас не станем. Пусть наш спор решит жизнь.

— Жизнь, — тихо повторил Крупенский. — В 97-м я видел на академической выставке картину Юлия Юльевича Клевера. Принято думать, что это пошлый художник, а это не так. Там был изображен пруд, раннее утро... Над лесом — тяжелые облака, мокрая трава под деревьями. А у горизонта — светлое небо и голубая прозрачная вода. Я бы хотел пройти по этой траве. — Крупенский смотрел прямо перед собой. — Босиком, — добавил он. — Пройти и умереть... Давайте спать.

Крупенский защелкнул замок на дверях купе, встал спиной к зеркалу: слева сидели оба краскома и смотрели на него с тревогой и недоумением, справа вытянулся на полке Раабен. Крупенский выдернул из бокового кармана пистолет — подарок резидента в Гельсингфорсе. Краскомы переглянулись.

— А зачем? — спросил Васильев.— Сбегутся люди, вас неизбежно схватят. Глупо.

— Ваше последнее слово? — Крупенский щелкнул предохранителем.

Краскомы молчали. Крупенский дважды нажал собачку, оба рухнули, не вскрикнув. Выстрелы прозвучали совсем негромко.

— Ну и ну,— только и сказал Раабен.— Как пробка от шампанского...

Трупы уложили на полки, отвернули к перегородке, накрыли одеялами. Все делали молча. Поезд замедлил ход.

— Бологое,— послышался из коридора голос проводника.— Поезд стоит десять минут.

— Уходим,— Раабен взялся за ручку двери.

— Нам надо в Москву,— холодно отозвался Крупенский.— Вы что же, намерены идти пешком?

— А вы намерены ехать с покойниками? — в ужасе посмотрел на него Раабен.

Крупенский сунул пистолет в карман:

— Мы едем в Москву, и поверьте мне на слово: пока их обнаружат, пока всё выяснят, мы уже в Харькове будем. Давайте выпьем за упокой их душ.— Он разлил водку по стаканам.

— Н-нет,— покачал головой Раабен,— нет, вы уж без меня, я, знаете ли, не палач, увольте. Свои все же...

Крупенский поставил стакан, схватил Раабена за лацканы пиджака, притянул к себе:

— А ты как думал, ублюдок? Думал, гражданская война — это рыцарский турнир, игра в благородство? А они бы тебя пощадили? Эти «свои»? Вот что, милый: или ты поймешь, что мы идем по трупам, или трупом станешь ты сам. Пошел вон! — он отшвырнул его и отряхнул руки.

— Но... но ведь они офицеры,— жалко улыбаясь, лепетал Раабен, не сводя глаз с покойников.— Они такие же, как мы. Нельзя же так, за здорово живешь...

— Можно,— дружелюбно улыбнулся Крупенский.— Все можно, дорогой мой ротмистр. Очень прошу: верьте мне, и мы с вами еще погарцуем в белых лосинах по Марсову полю. Пейте...— Крупенский лихо опрокинул стакан и осушил его одним глотком.

Он больше не верил Раабену, не верил самому себе. Во всяком случае, тем словам, которые только что произнес про Марсово поле и парад.

Что ж... Наверное, убийство краскомов было глупостью. Наверное, так поступать не следовало. Наверное, и даже наверняка. И тем не менее он не только не жалел о случившемся, не только не волновался, оказавшись, мягко говоря, в «провальной» ситуации, а, скорее, наоборот: успокоился, расслабился и даже задремал. И уже совсем засыпая, подумал: «Я вышел на суд божий, я бросил перчатку... Схватят и расстреляют? Ну и слава богу. Ему решать».

...В Москву приехали в шесть утра. Крупенский выглянул в окно. Встречающих на перроне не было, и это значительно упрощало дело. Купе заперли. Раабен рукояткой нагана заклинил замок, благо проводник торчал у выхода и ничего услышать не мог. А пассажиры уже разошлись.

Вышли на привокзальную площадь. В былые годы здесь кипел людской водоворот, вызванивала конка, ни на секунду не умолкали крики носильщиков и мелких торговцев. Теперь же царила мертвая тишина, не нарушаемая даже трамваями. Или это только показалось Крупенскому?

— Нам нужно обрести пристанище,— он с трудом отвлекся от своих мыслей.— У меня была здесь...— он не договорил, не знал, как ее назвать: знакомая, любовница, агент. Пять лет назад, в разгар войны, он приехал в Москву для разработки адреса — по делу транспортировки оружия из Швейцарии. По агентурным данным, было известно, что перевалочной базой на пути в Петербург служила квартира какого-то музейного смотрителя. Ящики с оружием, оформленные под обыкновенные чемоданы, как доносил «сотрудник», оставляли на одну, редко на две ночи в этой квартире. Агент не знал ни имени, ни фамилии смотрителя, ни его ад-

реса. Крупенский обошел все московские музеи и в конце концов установил функционера большевиков. Им оказался смешной старичок, заведующий залом восточного оружия в Историческом музее. Крупенского навела на него Матильда Улыбченкова, библиотекарь музея. Когда Крупенский назвал приметы чемоданов, Матильда заявила, что видела точно такие же в подсобке зала восточного оружия. За стариком установили круглосуточное наблюдение. По заданию Крупенского Матильда начала бывать у него, поила его чаем, приносила свежие калачи и однажды сообщила Крупенскому: «Чемоданы — в кладовке». Старика арестовали, судили военно-полевым судом и повесили. Какая у него была фамилия? Лень вспоминать... Сколько их было, этих фамилий... Сотни... А вот Матильда, ярко-рыжая, с маленьким носом-пуговкой и жирно накрашенными губами, внешне очень пошлая, очень зовущая, она оправдала все его самые смелые ожидания. Три дня и три ночи прошли в сплошном угаре, словно час единый. А что же теперь, спустя пять лет?

— Поехали к Матильде,— предложил Крупенский.— У нее есть подруги, так что внакладе не останешься.— Он умышленно перешел с Раабеном на «ты», хотел представить его Матильде как давнего задушевного друга.

— Так мы сюда работать приехали или... борделировать? — хмуро спросил Раабен.— Что-то я не пойму вас, товарищ Русаков.

— Тебя, милый Женя, тебя,— уточнил Крупенский.— Конечно, работать. Что касается Матильды... Знаешь, в апостольском послании к коринфянам сказано: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся».

— Весьма оригинальное толкование святого апостола Павла,— отозвался Раабен.— Однако наше дело солдатское. Приказано — понято, сделано. Поехали... Володя.

Тряслись на трамвае до Петровских ворот, оттуда пешком добрались до трехэтажного дома в начале Малой Дмитровки, наискосок от Путинковского переулка. Вошли в парадное. Одна створка двери была сорвана с петель, на второй кто-то размашисто написал мелом: «Никто не даст нам ис бавленья». Осмотрелись. Все

было спокойно. Поднялись на второй этаж. Уверенно, словно приходил сюда каждый день, Крупенский толкнул дверь, и она послушно поддалась: оказалась не заперта.

— Не боятся,— заметил Раабен.— Наверное, нечего терять.

Прошли по коридору, он был заставлен сундуками, чемоданами и разобранными кроватями. Крупенский осторожно постучал.

— Входите,— послышался низкий женский голос.

Они вошли. Комната была маленькая, уютная, в окне поблескивали купола Покрова-Богородицы и золотые кресты над ними. Около подоконника, опершись на него, стояла женщина лет сорока. У нее были нечесаные волосы, припухшие от сна веки, бледные, сливающиеся с лицом губы, словно рта вообще не существовало.

«Эк ее»,— едва не сказал вслух Крупенский.

Она явно не узнавала его, и он растерялся. Раабен это понял.

— Наверное, когда к заутрене трезвонят, мешают вам? — он попытался разрядить обстановку.

— Я верующая,— сказала она.— А что вам, товарищи? Кто вы?

— Матильда,— со слезой в голосе произнес Крупенский.— Неужели я так изменился?

— Боже мой,— едва заметно шевельнула она вдруг побелевшими губами.— Вы-ы... Эт-то вы-ы...— Глаза ее остекленели. Она медленно приближалась к Крупенскому и все смотрела, смотрела на него, словно не в силах была закрыть глаза.

— Гад! — вдруг выкрикнула она пронзительно.— Сволочь, христопродавец, убийца мерзкий!

— Подожди, Матильда,— попятился Крупенский.— Не ты ли страстно лобзала меня на этой кушетке? — Он ткнул пальцем куда-то в угол и подумал, что нужно немедленно все обратить в шутку. Он с трудом соображал, что для этого нужно сделать, что сказать.— За что же ты так? Ты меня не путаешь с кем-нибудь из «чрезвычайки»? Убийцы, между прочим, там! — нервно продолжал он.

Она сдавила пальцами прыгающий рот, зубы у нее стучали.

— Повесили Анисима Федоровича,— вдруг очень тихо и очень спокойно сказала она.— Как увели, так через день и повесили. Когда мы с вами... на этой... кушетке любовь крутили.

— Мадам,— вмешался Раабен.— Знаете, я видел как-то почтовую открытку: арестанты смотрят из вагонной решетки на голубей, которые, как ни странно, воркуют на платформе. Называется «Всюду жизнь». Вот мы с вами беседуем, а на другом конце Москвы кто-то умирает от чахотки. А жизнь идет. Кто ее остановит?

— Дурак! — крикнула она.

— Помилуйте,— пожал плечами Раабен.— Вы что же, не знали, что делали? Девочка наивная? Позвольте не поверить.

Крупенскому надоела эта сцена. Он щелкнул портсигаром, закурил.

— Женя, ты ее не агитируй, она тогда больше кушеткой интересовалась... Пардон. Судьба этого, как его бишь, Анисима — она ее тогда мало волновала, эта судьба...

— Что ж, господин жандарм,— Матильда вымученно улыбнулась.— Вы правы, смерть Анисима Федоровича на мне. Бог меня покарал, а вы уходите, но только знайте: бог и вас покарает. Убийцы вы, будьте вы прокляты!

Раабен открыл двери:

— Погуляли,— хмыкнул он.— Оревуар, мадам.

— А зря,— поддержал Крупенский,— так и так соседи все слышали, теперь проходу не дадут, в домком донесут, а у нас — водка, консервы... Не передумаешь?

Она молчала, тупо уставившись в одну точку, потом сказала:

— Соседей нет. Уходите.

Крупенский пожал плечами, взял Раабена за рукав и вывел в коридор, потом тщательно прикрыл за собой дверь.

— Проверь, есть ли кто. Быстро!

— Она ведь сказала, что никого,— возразил Раабен.

Крупенский молча сжал губы, и Раабен послушно двинулся вдоль дверей: их было четыре, все были заперты.

— Пусто,— вернулся Раабен.— Да зачем все это?

— Я буду ждать на улице,— сказал Крупенский.— Зайдешь к ней — и... тихо! Тихо и быстро. Понял?

— Да она ничего...— вяло возразил Раабен.— Не надо, а? — Он начал бледнеть, губы у него запрыгали.

— Ступай! — Крупенский направился к выходу.

Когда спускался по лестнице, откуда-то сверху донесся слабый приглушенный вскрик, и Крупенский подумал, что, наверное, Раабен повалил Матильду и накрыл ей лицо подушкой. «Сквозь подушку он ее не добьет,— шевельнулось в голове.— Надо было сначала рукояткой нагана, а уж потом подушку на лицо, а сверху буфет. Тогда, как говорят блатные, «верняк».

Он вышел на улицу. Из церкви тащились прихожане, он услышал раскатистый бас протодьякона: «Ныне и присно и во веки веко-ов». Нервно потирая руки, из парадного выскочил Раабен.

— Что? — спросил Крупенский.

— Я ей говорю: «Перчатки на подоконнике забыл»...

— Излагайте только суть дела,— отчеканил Крупенский.

— Ну, она повернулась... я наганом, потом подушку на лицо, сверху буфет повалил. Не пискнула.

— Еще бы... Крикнула?

— Да-а,— сознался Раабен.— Когда ударил — крикнула. Не рассчитал, слабо ударил.

— Всё, пошли отсюда.

Крупенский взял Раабена под руку и повел.

— У меня документы надежные и связь в гостинице «Боярский двор». Но вместе нам туда нельзя. У вас кто-нибудь есть в городе?

— Никого.

— Тогда идите к любой церкви, к любой часовне. Там всегда полно старух. Приклейтесь к какой-нибудь. Московские это любят — странников принимать. Устроитесь, придете ко мне, в гостиницу. Там служитель есть, Петром зовут, он все сделает. И будьте осторожны. Если что, меня за собой потянете.

— Не потяну,— перебил Раабен.— У меня в воротничке — циан.

Их уже начали разыскивать. Проводник сообщил приметы в милицию. Но они не знали об этом. До Малой Дмитровки они успели добраться в ранний час и не обратили на себя внимания. Теперь же они решили идти порознь: Крупенский направился в Китай-город, Раабен — к Страстному монастырю. Но сочувствующих старушек у монастыря не оказалось, и Раабен, покрутившись у входа, решил идти на Красную площадь, к Иверской часовне. Было восемь часов утра...

Сергей Марин пришел на службу в девять часов утра и по устоявшейся привычке заглянул в дежурную часть. Новостей, которые могли бы его заинтересовать, не было, и он повернулся, чтобы уйти, но в это время зазвонил один из многочисленных телефонов на столе у дежурного.

— Какой еще священник? — раздраженно заорал дежурный в трубку.— Да нам-то что? Вы там трехнулись от подозрительности. Да понял, понял я: умер поп, ну и хороните его. Без нас! — Он что-то записал и швырнул трубку на рычаг.— Докатились,— сказал он, встретив удивленный взгляд Марина,— просят приехать, осмотреть дом и вещи покойного. Поп, понимаешь, дуба дал. Пользовался у крестьян авторитетом, так боятся: нет ли здесь чего. В Воронцове, пятнадцать верст киселя хлебать, а зачем?

— В Воронцове? —медленно повторил Марин.— А как фамилия священника?

— Отец Ни-ко-дим,— дежурный заглянул в блокнот и удивленно посмотрел на Марина.— Да вы что, знали его?

Марин молча вышел из кабинета.

«Знал»... Глагол в прошедшем времени... Сколько раз рассказывал ему Никодим о своем сельце, старинной барской подмосковной Воронцовых и Репниных, с усадьбой в запущенном парке, с остатками служб и готическими белокаменными воротами вроде тех, что соорудил великий Баженов в Царицыне для матушки императрицы Екатерины, про низенькую церковь и кладбище при ней, про пыльные, но такие уютные проселки, про своих прихожан-острословов, которым пальца в рот не клади... Было это в Париже, в 909-м году.

Марин тогда выполнял партийное задание и жил неподалеку от Монмартра, на тихой и скромной улочке Сосюр, оттуда было рукой подать до кафе, излюбленных всеми поколениями художников, до самочинных выставок, которые он всегда так любил и считал их главным здесь и самым интересным. Задание у него было трудным: заграничная агентура департамента полиции нащупала конспиративные квартиры большевиков. Были сведения, что среди эмигрантов в партийной среде есть провокатор. Марину поручили выяснить это. А он был художник, художник, несмотря ни на что! Это внутреннее чувство профессиональной причастности жило в нем всегда, что бы он ни делал, чем бы ни занимался. В коротких предутренних снах он часто видел ослепительно белый холст, на который выплескивалось целое море пронзительно ярких, сверкающих красок. Теперь же, когда у него и на самом деле появилась возможность, пусть для прикрытия основного занятия, побродить с этюдником по Парижу, он воспользовался ею со всей страстью, на какую только был способен. В течение двух недель он написал серию этюдов и выставил их здесь же на Монмартре, в кафе Пуэндюжур. Этюды вызвали сенсацию, длинноволосые рапены устроили Марину овацию. Писал он странно. Наверное, в этих экспрессивных, нервных мазках, в необъяснимых наслоениях краски непосвященному вовсе не виделись ни строгий абрис Триумфальной арки, ни перспектива Елисейских полей, но дух этих парижских доминант, их сущность, их неуловимое обаяние жили на этюдах и производили совершенно неотразимое впечатление. Над Мариным смеялись, сравнивали довольно неудачно с унылым искусством какого-то Ван-Гога, мало кому известного и совсем никому не нужного. Живопись Марина была нетрадиционной, и это раздражало, особенно товарищей по партии.

— Уж писал бы как Репин или Суриков,— говорили Марину.— Твое искусство не понятно народу.

— А я думаю, что задача художника не в том, чтобы опускаться до народа, а, скорее, в том, чтобы поднимать народ до собственного уровня. Не согласны? — возражал Марин.

Нет, с ним не соглашались. Между тем вернисажи, совместная работа во время этюдов расширили круг его

знакомств. И вот настал день, он «вышел» на провокатора. Им оказался один из партийных курьеров. На него Марина вывел художник-француз, в доме которого этот курьер снимал комнату. И вот здесь чуть было не произошло непоправимое. «Заведывающий» заграничной агентурой Гартинг обратился в «Сюрте женераль». И однажды утром Марин обнаружил наблюдение. Пытаясь уйти от агентов «Сюрте», он забрел на улицу Дарю и оказался в русской церкви. Сухо потрескивали свечи. Две девушки, «мединетки», как их полуласково, полупрезрительно называли парижане, удивленно обводили глазами непривычный интерьер православного храма. Марин подошел к царским вратам, опустился на колени. Он размышлял, как поступить. Пока агенты не зашли в храм, но они могли сделать это каждую минуту, и тогда... Тогда — Тулон, каторга и в лучшем случае принудительная служба в иностранном легионе где-нибудь в Алжире или Марокко.

Вышел священник, поправил свечи, бросил на Марина пристальный взгляд:

— Русский, недавно приехали?

— Да, батюшка,— встал Марин.— А вы давно здесь?

— Третий год служу, скучаю, милый, пора бы и домой, в Москву.

— И мне пора,— искренне сказал Марин.— В Россию.

Священник окинул Марина внимательным взглядом:

— Случилось что? Ты не бойся, говори.

— Да вот,— решился Марин,— ссора у меня, святой отец,— недруги на улице ждут, не чаю, как и выйти отсюда.

— М-м-м,— протянул священник.— Все поправимо. Пойдем со мной. Чайку русского попьем с сухариками. Глядишь, уляжется все, тогда и уйдешь. Меня зовут отец Никодим.

Они сидели за самоваром часа два. Говорили об искусстве, о строителе русского православного храма в Париже Кузьмине, о том, что церковь эта не самая большая его удача, как, впрочем, и часовня у ворот Летнего сада в Петербурге в память о «чудесном» избавлении Александра II от пуль нигилиста Каракозова.

Никодим сказал:

— Человек думает, что он конечен, смертен, оттого и узок его ум. «От» и «до» — воспринимает, а что сверх того — почитает от лукавого. А господь устроил все иначе, но не ведаем того; несть у человецев конца и начала, и знай они о сем, изменилась бы их жизнь. Возьмем твое искусство. В незапамятные времена начали писать иконы плоско, а потом Симон Ушаков поломал традицию и начал писать объемно, и как же его проклинали! А ведь он шел вперед, дерзал. Или, скажем, картины. То восковой портрет из египетских далей, то наш Крамской, а через сто лет даже Пикассо какой-нибудь будет казаться совсем старомодным, совсем, как бы это выразиться, обыкновенным. А как сегодня о нем спорят? Говорят: удар грома, блеск молнии. Да не-ет... Просто рвется человек из тесной своей оболочки, и все. Ну да бог даст, и вырвется. А ты как думаешь?

Они расстались друзьями, и вот нет больше Никодима...

— Я съезжу туда,— сказал Марин дежурному.

Тот пожал плечами, но машину для Марина вызвал. Когда последние мощенные булыгой улицы Москвы остались позади, за автомобилем потянулся вязкий шлейф пыли. Он возник сразу же за Калужской заставой и сопровождал Марина до самого Воронцова. В парк въехали со стороны старого Калужского шоссе, через готические ворота. Пыль улеглась, и яркие лучи солнца, дробясь в пожелтевшей листве, померкли. Наступила странная, непривычная, ничем не нарушаемая тишина. Фырканье и треск автомобильного мотора только подчеркивали ее. Свернули направо, к церкви и кладбищу. За вековыми деревьями стало еще тише, еще сумрачнее, и Марин вдруг понял, что приехал слишком поздно, похороны уже окончились. И в самом деле, когда автомобиль остановился неподалеку от алтарной апсиды, Марин увидел свежевыкрашенную ограду и за ней усеченную пирамиду из черного мрамора с крестом и золотую надпись, которую почему-то не прочитал, а увидел в ней всего лишь несколько слов, вдруг поразивших воображение: «...а служения его при сём храме было 55 лет».

— Служения,— вслух повторил Марин и вернулся

к автомобилю.— Как же это просто и величественно сказано... В конце концов, мы ведь тоже служим, и каким грандиозным замыслам? Мы служим, чтобы человек «вырвался», кажется, так говорил отец Никодим?

Подошел милиционер в пыльной поношенной форме, спросил:

— Вы откуда, товарищ?

— Из ВЧК,— сказал Марин.— Вы звонили?

— Не-е-ет,— протянул милиционер.— Это председсельсовета. От глупости, должно, вы уж его простите.

Марин с интересом посмотрел на милиционера, сказал:

— Пусть живет спокойно ваш председатель. Отец Никодим прожил хорошую жизнь, и нам ее ревизовать незачем.

Марин откозырял и сел в машину. Через час он уже входил в кабинет Артузова.

Начальник оперативного отдела ВЧК Артур Христианович Артузов выглядел очень молодо, гораздо моложе Марина. Разговаривал он с Мариным всегда подчеркнуто уважительно, любил его, ценил серьезный маринский опыт, еще дореволюционный. Мало у кого в ВЧК был такой опыт в ту пору.

— Садитесь, Сергей Георгиевич,— предложил Артузов, закуривая.— Мне звонили только что.

Марин улыбнулся:

— Председатель сельсовета из Воронцова?

— Он. Жаловался. Говорит: «Ваш работник поощряет опиум для народа». Отец Никодим, это что же, тот самый? Из Парижа?

— Тот самый. Удивительный был старик. Мир его праху.

— От меня только что ушел начальник иностранного отдела,— сказал Артузов.— Сообщение из Парижа вы потом прочтете. Там множество интереснейших подробностей о ближайших планах Врангеля. Пока главное: в Крым направлен бывший жандармский офицер, фамилия неизвестна. Офицер этот идет через нашу территорию. Смысл задания неясен. Мы прикидывали, похоже, что убийство двух краскомов в петроградском поезде — его рук дело, во всяком случае исключить этого пока что нельзя. Вам нужно незамедлительно

встретиться с вашими людьми и дать задание на розыск.

— Есть,— Марин встал.— Я пойду распоряжусь.

— Как тетушка? Спорим потихоньку? — улыбнулся Артузов.

— Нет,— рассмеялся Марин.— Мéчем громы и молнии.

— Если бы все наши политические противники вели с нами только диалог, как ваша тетушка,— вздохнул Артузов,— мы бы занимались совсем другими делами. Вы бы, например, удивили мир какой-нибудь новой картиной, не правда ли?

— А вы?

— А я бы растирал вам краски,— улыбнулся Артузов.— Держите меня в курсе событий, нужно спешить.

Раабен вышел на Красную площадь. Над главным куполом Василия Блаженного с криком кружили бесчисленные стаи ворон. Купол был разбит во время октябрьских боев 17-го года прямым попаданием артиллерийского снаряда, и с тех пор среди его стропил и перекрытий обретались огромные московские вороны. Им теперь плохо жилось: не было лошадей, не было навоза. Раабен пожалел ворон и подумал, что автомобилей у советской власти тоже нет. За те пятнадцать минут, что простоял он у памятника Минину и Пожарскому в центре площади, ее пересек лишь один обшарпанный лимузин, затем прошла колонна рабочих с красным транспарантом: «Бей наймитов империализма!», потом прошагала рота красноармейцев, они пели: «Кто поцелован свободой, не будет рабом никогда».

Осень была теплой, деревья у кремлевских стен шелестели красно-желтой листвой, над потертым куполом Ивана Великого висело низкое, удивительно синее небо, а на верхушках башен распростерли бронзовые крылья императорские орлы. Два года жила Россия без императора, а вот орлы пока еще оставались. Советской власти было пока не до них. «Доброе предзнаменование,— подумал Раабен.— Вернется царь— и снова будут полковые праздники, трубачи играть станут, и подойдет к царскому креслу Дёжка Плевицкая и запо-

ет, как бывало: «Не белы снеги»...— Раабен даже прослезился от вдруг нахлынувших воспоминаний.

У часовни Иверской божьей матери, что притулилась слева от кирпичного музея императора Александра III, молились старухи. Безногий солдат на тележке стучал по брусчатке деревянной толкалкой и хрипел, закатывая ошалелые от спирта глаза: «Православные, не верьте жидам-комиссарам, не верьте дворянам, потому — они продали царя-батюшку временному правителю Сашке! Не верьте попам, они царствие божие под перины своих попадьев пораспихали! Подходи, православные, записывайся в мою ватагу, мать-перемать! Ноги поотрубаем, на тележки поместимся! В атаку — марш, марш, весь мир в полон возьмем и водкой зальемся!» — и плакал, растирая по грязному лицу обильные пьяные слезы.

Раабен подошел к часовне и купил желтую восковую свечу у монахини, отдал ей свой последний николаевский рубль. Приблизился к иконе, укрепил свечу на шандале, в нем уже догорал десяток таких же свечей, и, крестясь, пробормотал: «Пошли удачи и добра, господи, пошли справедливости». Впереди лежала залитая солнцем Красная площадь. Недавнего солдата-калеку волокли — вели под руки двое в кожаных куртках. Солдат плакал и визгливо выкрикивал проклятья. Раабен угрюмо посмотрел ему вслед.

— Отвезут в подвал и шлепнут бедолагу,— с сожалением сказала старуха в лисьем салопе.— Нынче не церемонятся. Мандат у них нынче. Тьфу!

— Как вы сказали? — переспросил Раабен, вглядываясь в ее лицо.

— Ман-дат... На редкость неприличное слово,— поморщилась старуха. На вид ей было лет шестьдесят. «Немыта, нечесана, обозлена,— подумал Раабен.— Стара, конечно, ну и черт с ней. Мне приказано найти пристанище. Любовница мне не нужна».

— Неприличное? — переспросил он.— Хамское, скажите лучше. Мат, самый настоящий, я полагаю. Позвольте представиться: Раабен. Бывший дворянин, бывший ротмистр.

— Апосова,— кивнула старуха.— Знаете, за один прошлый год ЧК расстреляла десять, нет, одиннадцать человек. Верите мне?

— Конечно, военных, дворян? — горько усмехнулся Раабен.

— О, да,— кивнула Аносова,— некоторые из них были в форме. Да-да, в форме. Они, знаете ли, отбирали вещи и деньги у этих... зарвавшихся красных мещан, и их поймали, увы! Вы петербуржец, чувствую по вашему выговору. Надолго в первопрестольную?

— Проездом, мадам. К сожалению, вокруг так не безопасно, а мне предстоит долгий путь. Понимаете?

— Так вы...— она приложила палец к губам и сказала шепотом: — Понимаю, понимаю, молчу. Не угодно ли ко мне? Правда, мне нечем угостить. Впрочем, у Василия, кажется, есть это... как ее... с дурным запахом.

— Самогон,— подсказал Раабен.

— Именно! — обрадовалась Аносова.— Так не желаете ли?

— Сочту за честь, мадам.

— Меня зовут Нэлли Ивановна,— улыбнулась старуха.

— Евгений Климентьевич,— поклонился Раабен.

Она жила совсем рядом, на Никольской. Дом был в стиле модерн, в пять этажей. Аносова толкнула парадную дверь, она поддалась с трудом, скрипя. Из верхней филенки вывалились остатки стекла, нижние словно и родились без стекол. Старуха зло пнула осколок, и он со звоном врезался в ступеньку лестницы.

— Вот, не угодно ли? По утрам в этих дырах так страшно завывает ветер, когда это только кончится? Господи...— она торопливо перекрестилась.

На лестничной площадке валялись грязные тряпки и обгорелые бумаги.

— Анархия,— развела руками Аносова.— Мы с мужем продали наше имение в Туле, знаете, там в Епифанском уезде есть село Буйцы. Может, изволили слышать?

— Сожалею. Не довелось.

— Ну, не суть,— поморщилась она.— Мы имение продали, а этот доходный дом купили.— Она обвела глазами мраморную лестницу.— Думали, сами поживем и других облагодетельствуем. Так нет же! Революция, изволите ли видеть. Ну и в позапрошлый год моего Егора сгноили в тюрьме!

— За что же?

— Какая-то еврейка стреляла в ихнего Ленина. Так, верите ли, они объявили красный террор.

— Какой? — изумился Раабен.

— Красный,— повторила она.— Так говорили между собой комиссары при аресте несчастного Егора Францевича. Я слышала собственными ушами.— Она приложила к глазам мятый платочек.— А теперь мой дом эк-спро-приировали... И я живу вместе с дворником, в его каморке. Прошу.— Она распахнула двери квартиры и крикнула: — Василий, голубчик, выйди, у нас гость.

— Дворник? — вопросительно взметнул брови Раабен.— Но-о-о... Как же так... Удобно ли мне?

— А вы предпочитаете чекиста? — кольнула его сузившимися зрачками Аносова.— Знаете, что я вам скажу? На мой вкус старорежимный дворник куда как лучше советского «товарища». Верьте мне на слово!

— А-ах, мадам,— поморщился Раабен. Его совсем не привлекало пить с дворником. Но в конце концов она была хозяйкой и могла делать, что хотела. Да и время теперь черт те какое... Он передернул плечами и добавил: — Я буду счастлив познакомиться со старорежимным дворником «товарищем» Василием. Чего уж там... Дворники всегда были опорой режима, не так ли?

Если бы бедный Раабен только догадывался, если бы он только подумать мог, как недалека от истины его не слишком веселая шутка.

Вышел бородач лет пятидесяти, в потертой ливрейной куртке с галунами, с красными воспаленными не то от бессонницы, не то от пьянства глазами; сказал хриплым басом:

— Наше почтение, господа. Прикажете очищенной?

— Да ведь у нас самогон,— удивилась старуха.

— Отчего же,— улыбнулся Василий.— Для хорошего человека можем и... очищенную представить. Только сбегать надо.

— Далеко ли?— спросил Раабен.

— Недалече, ваше благородие,— сощурился Василий,— напротив, там деверь мой проживает. Так он еще дореволюционный запас имеет. Вам, как человеку надежному, могу доверительно сообщить.

— Откуда? Помилуй бог,— наивно изумился Раабен.

— А видите ли, он торговлишку ставил, а тут царя-батюшку и поперли,— сказал дворник,— а запасец остался.

— Ты, братец, священное имя государя всуе не поминай,— строго сказал Раабен.— Ступай, у меня мало времени.

— Ступай, ступай,— подтвердила Аносова,— а я пока закусочку приготовлю. Вы как насчет соленых грибков? Правда, дрянь одна на дне банки осталась, но все же...

— Господи,—прослезился Раабен,— грибочки... Я помню, во время коронации государя, на торжественном обеде в Кремле...

— Неужто вы, голубчик, сподобились? — изумленно перебила старуха — Неужто и коронацию видели?

— Мадам,— закатил глаза Раабен,— как сейчас вижу: через всю Красную площадь — огромный помост! По нему дефилирует вся августейшая семья! Потом — собор! Митрополит Петербургский вручает государю корону! Государь возлагает ее на себя! Вторую корону возлагает на императрицу сам митрополит! А потом я стою в Грановитой палате в карауле и после торжественного обеда, когда августейшие особы удалились, гофмаршал приглашает охрану к столу. Какие были грибочки, мадам! Во мне пела каждая струна сердца. Мы были великой державой, мадам, а что теперь?

— Вы ели за одним столом со шпиками охранки... Фи! — сказала она.— Впрочем, каких только сюрпризов не подносит нам жизнь...

— А с кем мы теперь сплошь и рядом едим за одним столом...— вздохнул Раабен.

— Вы правы,— кивнула она и улыбнулась,— вы даже не представляете, насколько вы правы, Евгений Климентьевич.

Раабен молча улыбнулся в ответ и подумал, что приказ Крупенского устроиться он выполнил как нельзя лучше.

Василий тем временем вышел из парадного и пересек Никольскую. В доме напротив он поднялся на тре-

тий этаж, позвонил в дверь, на которой была укреплена металлическая табличка «Присяжный поверенный Нахамкес Я. И.». Дверь открыла горничная в кружевном фартуке. Василий кивнул ей и прошел коридором в дверь налево. Там за письменным столом, на котором стоял вычурный телефонный аппарат, сидел полный молодой человек.

— Нэлли привела офицера,— подобрался Василий,— на вид лет пятьдесят, выправка, гвардейский жаргон и прононс. Не исключено, что это один из тех двоих, с петроградского поезда...

— Утром было еще одно убийство, на Малой Дмитровке,— сказал молодой человек.— Я позвоню, вызову наряд. Когда он отойдет от квартиры, мы его возьмем. Полагаю, на допросе он выложит все.

— Предлагаю другой вариант,— сказал Василий.— Я за ним посмотрю. Он сейчас подопьет и станет менее зорким, а там решим.

— А я уже решил,— спокойно возразил молодой человек,— будет, как я сказал.

— Товарищ Нахамкес!

— Товарищ Васильев! Запомните: моя фамилия Ивченков, а во-вторых, своих решений я не отменяю никогда.

— Товарищ Нахамкес,— упрямо повторил Васильев,— я настаиваю на своем предложении. Офицер перспективный, а главное, нам нужен его сообщник. Ваше упрямство может все испортить, вы же знаете. Если я настаиваю — решаем мы вместе. Таков приказ руководства.

— Я доложу товарищу Артузову,— покраснел Ивченков-Нахамкес.— Я не могу работать с неинтеллигентным человеком. Кто вы? Вы даже не рабочий, я даже не знаю, кто вы такой, в конце концов.

— Катя, дайте мне бутылку «Смирновской»,— крикнул Василий.— Товарищ Ивченков, я всю жизнь рабочий и в ВЧК нахожусь по личной инициативе товарища Артузова. И в партии — с октября пятого года. Мое прошлое безупречно.

— А мне ваше прошлое внушает сомнение. Мы посоветуемся...

— Со-о-ветуйтесь. Я работал для революции еще тогда, когда вас на свете не было.

— Вот ваша водка,— горничная протянула Васильеву завернутую в газету бутылку.— Товарищи, сейчас не время, прошу вас!

Ивченков снял трубку телефона:

— Коммутатор Главтопа,— сказал он негромко.— Кто это? Это ты, Грязнов? Это Ивченков,— он засмеялся и посмотрел на Васильева.— Есть партия сырых березовых. Я предлагаю законтрактовать, а вот Васильев против. Что говорит? Говорит, что надо, мол, подумать, то-се... Что? Понял...— он убито опустил трубку на рычаг.

— Что решили? — Васильев сунул бутылку в боковой карман.

— По-твоему решили,— буркнул Ивченков,— в авторитете ты.

В ВЧК Марин работал с декабря 18-го. С революцией его связывали не только личные убеждения, но и семейные традиции: отец Марина — военный врач, статский советник по чину — был большевиком, с первых дней войны находился в военно-полевых госпиталях, на фронте. Врачебную работу он активно сочетал с пропагандой среди солдат. В 16-м контрразведка арестовала его. Он был обвинен в шпионаже в пользу немцев и приговорен военно-полевым судом к расстрелу. Приговор привели в исполнение через час после вынесения. Марин даже не знал, где могила отца...

С самого утра он внимательнейшим образом анализировал сообщение из Парижа. Оно содержало массу удивительнейших подробностей, некоторые из них просто-напросто ошеломляли. Находясь на краю гибели, будучи блокированным красными армиями в Крыму и прилегающих территориях, уже не представляя долговременной угрозы для Советской власти, Врангель тем не менее планировал именно долговременную, рассчитанную на десятилетия внутреннюю и внешнюю политику своего правительства. Это было не логично и не объяснимо. Законы о земле и о порядке государственного управления, привлечение к работе в госаппарате наиболее значительных, авторитетных деятелей прежнего режима, концессии западным монополиям на пра-

во разработки природных богатств Крыма на много лет вперед, оживленная торговля и обмен с Турцией, Францией, Соединенными Штатами Америки — все это было совершенно непонятно. Марин пошел к Артузову и поделился своими сомнениями.

— Думаю, не так все просто,— прищурился Артузов.— Вам кажется, что он агонизирует, а он намерен жить еще сто лет...

Артузов долго молчал.

— Я вот что скажу, Сергей Георгиевич. Вы видите, и это правильно, что барон на краю пропасти, но вы забываете о наших собственных трудностях. Смотрите: гражданская война продолжается четвертый год. Народ устал. Всюду недостатки, недохватки, а то и просто голод. Пилсудский, слава богу, только что отпустил тиски, а если он снова возьмет нас за горло? И Врангель снова двинется в наступление? И мы не успеем покончить с ним до зимы? Мы выдержим еще одну зиму? То-то... Не так все радужно и у нас, не так все безнадежно и у него... Вы проверили сообщение Васильева и Нахамкеса? Кто такой этот Раабен?

— Бывший кирасирский офицер. В контрреволюционной деятельности не замечен, выехал вчера из Петрограда в Москву дневным поездом.

— Один?

— У него был попутчик.

— А-га, значит, это они... И в поезде, и на Малой Дмитровке они... Мне звонил начальник уголовного розыска, оба убиты из одного и того же револьвера. О Раабене все?

— Нет. Я тщательно проверил. Такая фамилия встречается в связи с екатеринбургскими событиями 18-го года. Некий Раабен Алексей — преподаватель Академии генштаба (она в тот год находилась в Екатеринбурге), принимал активное участие в подготовке освобождения бывшего царя и его семьи.

— А какое отношение имеет этот Алексей к нашему Раабену?

— Они оба Климентьевичи.

— Братья?

— Думаю, что да. И в связи с этим еще кое-что. Заговор был организован военным контролем так называемой Сибирской армии.

— Что это такое?

— Псевдоним контрразведки. Она себя скомпрометировала зверствами и грабежами. И командующий армией приказал именовать ее впредь военным контролем. Заговор этот лопнул. Комендатура Дома особого назначения его вовремя раскрыла и ликвидировала. В списках участников я нашел своего однокашника по Академии художеств — Крупенский Владимир Александрович. Мы с ним росли вместе.

— Почему вы о нем вспомнили? К делу он вряд ли имеет отношение, слишком опосредствованные связи.

— Вы никогда не интересовались проблемами предчувствия, интуиции?

— Проблемами? По-моему, это из области мистики. Нет?

— Артур Христианович, поштудируйте Фрейда, это австрийский психиатр. Вы читаете по-немецки? Я вам дам.

— И что же Фрейд?

— Принципиально он не отрицает предчувствия. Это сверхподсознание, темные, неконтролируемые глубины мозга. Знаете, говорят иногда: «меня что-то гнетет, я что-то предчувствую».

— Очень понятно объяснил. Спасибо.

— Напрасно улыбаетесь. Я предчувствую...

— Что?

— Свою встречу с Крупенским.

— Ага! — обрадовался Артузов.— Ну, раз так — возьми руководство операцией на себя. Рад, что наши желания совпали.

В дежурной части Марина ожидало сообщение Нахамкеса и Васильева, которые вели наблюдение за Рабеном. Он только что вошел в гостиницу «Боярский двор». Она помещалась совсем рядом с Лубянкой, на Старой площади, возле церкви Грузинской божьей матери. Марин позвонил в комендантский отдел и вызвал к подъезду дежурный наряд для задержания Рабена и второго агента, буде он окажется. Сели в мощный трехтонный «фиат» — единственный грузовик ВЧК, который мог вместить сразу всю команду — двадцать пять человек. Предстояла перестрелка. Опыт свидетельствовал, что белогвардейские эмиссары, как правило, не сдаются без боя. Кроме того, нужно было на-

дежно перекрыть все пути отхода, а для этого, по условиям местности, двадцати пяти человек было, что называется, в обрез. И тем не менее Марин был уверен в успехе. В свое время, когда он учился в Академии художеств, в классе Ефима Ефимовича Волкова, он часто ловил себя на мысли, что вершины профессии все время ускользают от него. Он горячился, проклинал свои не слишком зоркие глаза и не очень умелые руки — так ему казалось. Он свято исповедовал только одну истину: в любом деле надо достигать вершин. Он бесконечно штудировал натуру, ночи напролет просиживал в академической библиотеке, стремясь постичь секреты мастеров Возрождения, голландцев XVII века и новые веяния барбизонцев и импрессионистов. Он выходил из библиотеки с распухшей головой, с красными глазами, перебирал свои этюды и с ужасом думал, что дальше провинциального учителя рисования никогда не двинется. Его работами давно уже восхищались и профессора, и ученики академии, а ему все казалось плохо, слабо. Ефим Ефимович, видя его мучения, говорил: «У вас блистательная рука, мой милый. Вы чувствуете цвет и тон, как никто, и вы однажды подниметесь до высот Рюисдаля или Коро, а может быть, и гораздо выше них».

Несколько дней назад пришло письмо из Петрограда. Бывший однокашник сообщал, что Ефим Ефимович Волков скончался от голода и болезни и похоронен по церковному обряду на болотистом Смоленском кладбище. Мы все уходим понемногу...

...«Фиат» миновал памятник гренадерам Плевны. Сквозь грязные стекла часовни пробивались красноватые отблески лампад. Через минуту остановились у Владимирских ворот Китай-города. Дальше нужно было идти пешком. Марин распределил обязанности, и люди разошлись. Двоих он взял с собой. Один из них — усатый матрос с маузером-раскладкой через плечо вдруг спросил:

— Товарищ Марин, а как вы понимаете те-екущий момент?

Одергивать товарища матроса было совершенно бесполезно. Время митингов еще не прошло. Марин не раз убеждался, что эти митинги начинались подчас в самые неподходящие моменты. Вот и теперь, заберется матрос

на подоконник первого этажа в ближайшем доме и заорет, закатывая глаза: «То-о-ва-ри-щи!» И, не задумываясь о том, что крайне важная операция может быть безнадежно провалена, произнесет страстную речь о текущем моменте. Марин не раз говорил об этих странностях становления с руководителями ВЧК. Дзержинский сказал: «Это, конечно, плохо, но у нас в основном работают преданные революции люди, которых мы сами воспитываем. По-моему, здесь нужен такт, выдержка и время. Лишняя романтика уйдет сама по себе, а неорганизованность должны изжить мы с вами. Согласны?» Марин тогда согласился и поэтому теперь не стал отчитывать матроса, а только спросил на ходу:

— А вы как его понимаете, этот текущий момент?

— А я так понимаю,— остановился матрос, поглаживая полированную кобуру маузера.— Что Парижская коммуна погибла только потому, что рабочие французы не создали по нашему образцу карающий орган диктатуры пролетариата. Буржуазию надо было передушить всю поголовно. ЧК им надо было сделать, вот что.

Марин тоже остановился и с интересом посмотрел на собеседника:

— Одной диктатурой удержать власть нельзя, необходим высокий опыт, лучший опыт прошлого, понимаете?

— Ка-ак? — опешил матрос.

— А вот так,— помрачнел Марин.— Учиться нам всем надо, дорогой товарищ, и вам, и мне, и всем остальным. Если перестать учиться, безнадежная отсталость грозит любому человеку, особенно политическому деятелю, вождю, потому что в этом случае он привыкнет повторять одни и те же слова и в конечном счете за этими словами окажется пустота.

— А-га,—кивнул матрос. По его вытаращенным изумленным глазам Марин понял, что семя упало не на благодатную почву.

— Ладно,— сказал матрос,— я в бюре поговорю, чтобы с тобой провели беседу. Я слыхал, что ты оперативник что надо, а вот в смысле политики и текущего момента у тебя в голове труха. И пусть тебе вправят мозги. Это надо же! — он хлопнул себя по ляжкам.

Марин только рукой махнул. Что поделаешь, таков этот пресловутый «текущий момент». Матрос, конечно, предан революции до мозга костей, но он безграмотен, увы... А что же тогда сказать не о тупых, не о безграмотных? О тех, которые рвутся к власти, расталкивая всех вокруг себя локтями, и не только локтями? О тех, кто, достигнув желаемого положения, заняв вожделенный пост, сразу же забывает не только о том, что нужно учиться, учиться и учиться, но и о самых простых заповедях коммуниста и человека, о тех бесконечных карьеристах и проходимцах, которые лезут в правительственную партию, как мухи на мед, и заслуживают только одного — немедленного расстрела?!

Доказательно и четко сказал об этом Ленин...

Впереди со звоном хлопнула огромная стеклянная дверь. Это был вход в гостиницу «Боярский двор». До революции во всех московских справочниках она фигурировала на первом месте как самая дорогая, комфортабельная. Номера заливал электрический свет, в ванных плескалась горячая вода, и стоила эта райская жизнь от двух рублей и выше. Теперь же выбитые стекла в парадном были заменены грязной фанерой, и рукописный плакат извещал всех жаждущих о том, что «местов нет». Поднялись на третий этаж. Старший наряда доложил вполголоса:

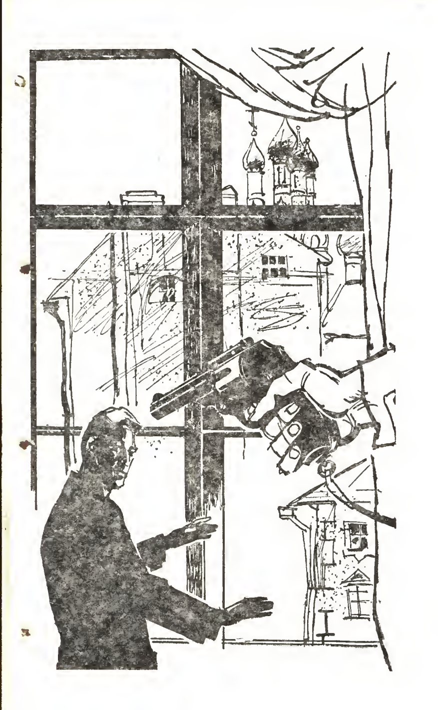
— Оне занимают 321-й нумер. Который его снял — Русаков фамилия — никуда не выходил. Второй пришел час назад. По концам коридора и на черной лестнице я поставил людей, а под окнами два человека: мало ли что...

— Хорошо,— одобрил Марин.— Нужно войти в номер. Как это сделать? — Он всегда вовлекал сотрудников в обсуждение творческой стороны любой операции. Это нравилось. Марина за это любили все, кому хоть раз довелось с ним работать.

— Можно, конечно, и вломиться,— старший с сомнением оглядел массивную дверь 321-го номера,— но лучше войти тихо.

— Допустим,— сказал Марин,— вы добудете у портье вторые ключи, станете открывать. Они все равно услышат, откроют стрельбу.

— Верно,— кивнул старший.— Тогда я спущусь вниз и протелефонирую в нумер. Скажу, мол, так и так,



техник, мол, с телефонной станции. Проверка, мол, необходимо посмотреть аппарат.

— Лучше найти щитовую,— сказал матрос,— и вырубить свет на этаже. Они выскочат, тут мы их и цап-царап.

— Выскочат и другие,— возразил Марин.— В перестрелке могут пострадать посторонние люди.

— А в нумерах никого нет,— сказал старший.— Я проверял.

— Ищите щитовую,— сказал Марин.

Через минуту свет на этаже погас, а еще через несколько секунд в дверях 321-го номера щелкнул замок и послышался раздраженный голос Раабена:

— Черт знает что такое, тьма египетская. Человек! Че-ло-ве-ек! — заорал он.— Лампу! Хозяина сюда, черт бы вас всех побрал! Товарищ Русаков, я спущусь вниз, здесь никого нет.

— Вернитесь в номер,— услышал Марин и вздрогнул: голос говорившего был удивительно знаком — низкий, глуховатый, бархатистый. «Сахарный баритон»,— вдруг вспомнил Марин. Это был голос Крупенского, Володьки Крупенского — сердцееда и дамского угодника... «Вот тебе и предчувствие...— ошалело подумал Марин.— Не может быть»...

— Товарищ Русаков, тогда я найду кого-нибудь здесь, на этаже, или разживусь хотя бы свечой,— возразил Раабен.

Он двинулся по коридору. Марин сделал знак своим. Когда Раабен проходил мимо холла, в спину ему уперлось дуло маузера.

— Стоять,— шепотом приказал матрос.— ЧК!

Раабен сделал было движение, но матрос надавил ему стволом между лопаток, и Раабен сник.

— Вернитесь и скажите товарищу Русакову, что свечи вы не нашли,— предложил Марин.

Раабен послушно двинулся назад и в дверях номера обернулся:

— Хамы-ы,— простонал он и начал оседать.

Марин подхватил его сразу же обмякшее тело, остальные ворвались в номер. Русаков стоял у огромного окна и смотрел с недоумением.

— Сопротивление бесполезно,— сказал Марин.— Здравствуй, Володя.

Матрос так вытаращил глаза, что Марину захотелось ткнуть в них пальцами, чтобы вернуть на место.

— Это как же? — только и спросил матрос.

— Мы были знакомы до революции,— объяснил Марин.

— Да-а,— протянул Крупенский.— Значит, ты теперь в «чрезвычайке»?..

— А ты — в белой контрразведке?

— Этот готов,— старший наряда кивнул в сторону Раабена.

Вспыхнула лампочка под потолком, и Марин увидел, что Раабен лежит на спине, раскинув руки, закусив уголок воротничка рубашки.

— У него там циан,— сказал Крупенский.— Оружия у меня нет. Та-ак ты теперь в «чрезвычайке»? — снова протянул он, и было видно, что он никак не может не только понять, но и просто осмыслить этот факт.

Артузов с трудом скрывал изумление: Раабен вышел на связь с Крупенским!

— Знаете, Сергей Георгиевич, я начинаю верить в предчувствие, предопределение и переселение душ. Факт налицо.

— Попробуем осмыслить этот факт,— сказал Марин.— Вот что дал обыск,— Марин положил на стол шелковку Крупенского.

— Крупенский Владимир Александрович...— начал читать Артузов, разглаживая лоскуток на стекле стола,— состоит на службе в ассоциации бывших офицеров императорской гвардии, что подписями и печатью удостоверяется. Маклаков, Ладыженский.— Артузов поднял голову.— Это служба разведки Врангеля, ее центр на набережной Вольтера, у моста Дизар. Руководит этой организацией очень серьезный человек, в недавнем прошлом сотрудник особого отдела департамента полиции, создатель порнографической картотеки. В ней он собрал все — от акварелей екатерининского времени до новейших скрытых снимков, сделанных в лучших публичных домах Москвы, Киева и Петербурга.

— Не понимаю, в чем тут серьезность? — усмехнулся Марин.

— А вы подумайте,— спокойно сказал Артузов.— Дело Ладыженский затеял новое, архизавлекательное, особенно для начальства, приобрел этим особую у него популярность и быстро начал продвигаться по служебной лестнице. А использовалась картотека самым примитивным образом: лицо, которое намечалось для вербовки, обрабатывалось агентом с помощью этих открыток. Возникало желание осуществить увиденное на практике. Агент вел ничего не подозревающего человека кутить, там его скрыто фотографировали, а потом следовал обычный шантаж: либо мы ваше «художество» покажем жене и детям, а также начальству, либо вы будете нам «освещать» интересующее нас лицо.

— И все же, в чем его серьезность? — Марин закурил.

— Ладыженский работал с Малиновским,— хмуро сказал Артузов,— этот мерзавец был его личным агентом.

Теперь Марин понял все. У эсеров был Евно Азеф— двойник, служивший и революции и полиции, у большевиков — Малиновский. Возглавляя думскую фракцию большевиков, Малиновский состоял одновременно секретным сотрудником особого отдела департамента полиции. «Портной» — так он подписывал свои агентурные донесения.

— Расскажите о Крупенском,— попросил Артузов.

— В свое время мой отец служил врачом в лейбгвардии Волынском полку,— начал Марин.— Командиром одной из рот был капитан Крупенский Александр Петрович, бессарабский помещик, крупный землевладелец. Человек широких взглядов, умный, добрый, он близко сошелся с отцом. Выйдя в отставку, уговорил отца уехать в Бессарабию, всегда помогал нашей семье. В восемьдесят пятом году отец женился и купил дом в Бельцах, на самом берегу Днестра. Деньги на покупку также ссудил Александр Петрович. Что касается Владимира... мы родились в одно лето, росли вместе. Практически я жил все время в Кишиневе, в доме Крупенских. Учили нас одни и те же учителя, потом мы ходили в одну гимназию, она была на Александровской улице — лучшая гимназия города. Владимир хорошо рисовал, у меня тоже получалось. Было решено

отправить нас в Петербург, в Академию художеств.

— А ваша мать?

— Я никогда ее не видел. Она умерла сразу после родов. Она была молдаванка, ее звали Мария Негруце.

— Вы не похожи на молдаванина, хотя мне не раз казалось, что, когда вы волнуетесь, у вас появляется небольшой акцент.

— Это так. Я вырос среди молдаван.

— Сергей Георгиевич, займитесь Крупенским вплотную. Для начала нужно восстановить его путь от границы, выяснить, не он ли убил двух краскомов и Улыбченкову — с помощью Раабена, тогда он станет разговорчивей. Я уверен.

Крупенского поместили здесь же, на Лубянке, в одиночную камеру внутренней тюрьмы ВЧК. Марин решил побеседовать с ним в камере, не вызывая в кабинет. Когда начальник караула открыл окованную дверь, Марин увидел, что Крупенский безмятежно спит.

— Свободны,— отпустил Марин начальника караула и, дождавшись, пока Крупенский сел на койке и начал тереть покрасневшие глаза, сказал: — У тебя отменные нервы, Владимир, ты и в самом деле спал?

— Придуривался,— буркнул Крупенский.— Ты же знаешь: нервы у меня ни к черту. Не будь садистом, Сергей.

— Я просто хотел проверить, не закалился ли ты в аппарате господина Ладыженского,— пожал плечами Марин.— Вижу, что нет.

— Некогда было закаляться, ибо в аппарате Ладыженского я никогда не работал и даже ни разу не видел его. Меня затребовал Врангель и послал сюда Струве. Это всё.

— Так уж и всё? Да ты просто ангел, мой друг.

— Ты тоже не переменился,— нахмурился Крупенский.

— Возможно. По-прежнему веруешь искренне и горячо?

— А ты по-прежнему нигилист и декадент?

— Мы всё выяснили, ну и слава богу. Теперь по су-

ществу. Двоих в поезде и даму на Дмитровке ты уложил, или Раабен, или вы оба вместе?

— Раабена больше нет, так что отвечаю я один.

— Итак, тебя затребовал Врангель, а почему ты идешь через нашу территорию? Через Босфор ближе, это знает любой гимназист.

— Потому что я должен был кое-что проверить, кое с кем встретиться, кое-что наладить,— прищурился Крупенский.

— Точнее?

— Долго рассказывать. Ты прикажи выдать мне бумагу и чернила, я все подробно напишу.

— Хорошо. Ты получишь пачку прекрасной мелованной бумаги и самые лучшие фиолетовые чернила из секретариата товарища Дзержинского. А теперь объясни мне, чем вызвана твоя откровенность?

— А черт его знает,— вздохнул Крупенский.— Устал, все надоело, все равно расстреляют. Не веришь? Тогда слушай. В писании сказано: «Не мечите бисер перед свиньями, да не попрут они его ногами и, обратившись, не растерзают вас». Перевожу библейскую мудрость на язык фактов. Тебя, сына земского врача и крестьянки, приблизили, сделали равным Крупенские. А ты, как жид крещеный, как вор прощеный...— теперь Крупенский говорил напористо и зло.

— Пусть так,— согласился Марин.— Если ты убежден, что к красным меня привел голос крови, не буду тебя разочаровывать. Хотя уверен, что тебя к белым привели более прагматические побуждения.

— Мой маршрут через Харьков,— сказал Крупенский.— Дерзай, Сергей, и помни: возмездие впереди.

— А с чего ты, собственно, взял...— Марин с трудом скрыл смущение. Он вдруг отчетливо представил себе ситуацию и понял, что Крупенский прав: идти к Врангелю теперь придется ему, Марину.

— Не нужно, «товарищ»,— тихо сказал Крупенский.— Нет ни одной контрразведки в мире, которая не воспользовалась бы аналогичной ситуацией, чтобы подставить противнику своего человека. Тебя пошлют вместо меня. Я настолько горячо желаю этого, что не скрою ничего, даже самой незначительной мелочи. Я расскажу все, и расскажу честно. И только для того,

чтобы у товарища Дзержинского после тщательного анализа материала не возникло и тени сомнения и он тебя послал вместо меня.

— Договаривай, я не совсем понимаю, чего ты добиваешься.

— А все просто, как апельсин. Тебя разоблачат и шлепнут. По-моему, так у вас именуется расстрел? И я буду отомщен.

— Наивно, господин Крупенский.

— Не так наивно, как вам кажется, товарищ Марин... Вы ведь здесь думаете, что наша контрразведка держится исключительно на терроре, не так ли? Тебя разубедят, мой милый. Тебе предстоят очень интересные встречи, с очень интересными людьми. А теперь оставь меня, я должен молиться.

— Прощай,— направился к дверям камеры Марин.

— Я близок к падению, и скорбь моя всегда передо мной,—забормотал Крупенский,— а враги мои живут, укрепляются и воздают мне злом за добро. Не оставь меня, господи боже мой, не оставь...

Марин жил в одной квартире со своей теткой по отцу — Алевтиной Ивановной. Было ей далеко за шестьдесят. В свое время она окончила Бестужевские курсы и поддерживала связь с либералами из окружения Сытина, но после октября 17-го года резко изменила свое отношение к революции и все время язвительно бурчала. Ей казалось, что большевики не только узурпировали государственную власть, но и развязали самые темные инстинкты масс, вывели на поверхность всю накипь, и не просто вывели, а дали ей, этой накипи, простор и волю и благословили на самые мерзкие дела. Марин, прекрасно понимая, что ни взглядов Алевтины Ивановны, ни убеждений ему не изменить, тем не менее горячо спорил с теткой. Во-первых, потому что считал своим долгом большевика всегда давать отпор любым нападкам на его партию и ее программу, а во-вторых, потому что горячо и искренне любил Алевтину Ивановну и в глубине души все еще надеялся на чудо: а вдруг он найдет-таки тот решительно неотразимый довод, который собьет ее с позиций и заставит взглянуть на события совсем с иной точки зрения. Она была

единственной его родственницей, единственным родным человеком. Так уж сложилось, что не было у него жены — той неповторимой и единственной женщины, как он думал, которая встречается только раз в жизни и освещает эту жизнь ярким и негасимым светом. Не было у него такой женщины, не встретилась она ему.

— Я приготовила пирог,— сказала Алевтина Ивановна,— из ржаных корок, отрубей и мучной пыли. Я вытряхнула ларь.

— А как вы его подняли? — наивно спросил Марин.

— А я его разбила топором, на дрова,— объяснила Алевтина Ивановна.— Там на дне образовался слой лежалой муки, я его соскребла ложкой. Чувствуешь запах? — она потянула носом.

— Что-то горит? — спросил Марин.

— Фи, вы совершеннейший моветон, мон шер... Как только тебя терпели в обществе? Это дореволюционный запах ржаного хлеба, дурачок.— Она ушла на кухню и тут же вернулась, неся на подносе огромную лепешку почти черного цвета.— Сейчас мы отправимся в прошлое. Там были магазины, мануфактура и обилие «жратвы», как это теперь называют... Счастливое время.

— Под влиянием вашей сентенции, тетя, я нахожу, что эта чернота,— он ткнул вилкой лепешку,— пахнет трюфелями.

— Не юродствуй, мой друг, ты помнишь у Блока, в «Двенадцати»? «Большевики загонят в гроб»! Он великий поэт, не чета этому вашему, как его? Босой, грязно́й, нищий... О, господи!

— Бедный, тетя, Демьян Бедный,— уточнил Марин.

— Вот, вот! Не забыл? «Роняет лес багряный свой убор»... А теперь? «Ой, Ванюша, ой, Ванёк, ой, куда ты?» Я тебе вот что скажу: этические начала, как учит Платон, необходимы любому государству, иначе воцарятся произвол и беззаконие. Что и видим. Твоя «чрезвычайка»...

— Доводы должны быть не от эмоций, а от разума,— вздохнул Марин.— Организация, в которой я работаю, называется «Всероссийская Чрезвычайная Ко-

миссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и преступлениями по должности».

— Ешь, христопродавец,— почти ласково сказала Алевтина Ивановна.— Твоя «организация» «ликвидирует» лучших людей России.

— Факты?

— О «ликвидации»?

— О «лучших людях»,— уточнил Марин.

— Изволь. Лучший русский историк последнего времени — Николай Михайлович Романов. Еще?

— Тетя, это не серьезно. Романовых нужно было вырвать с корнем, и мы их вырвали. А какой Романов историк, извините, это спорно, тетя.

Алевтина Ивановна взметнула сухонькие ручки:

— У вас, конечно, будут лучшие историки, художники, поэты. Они со временем расскажут такое, что нам, современникам, и не снилось. Бог с тобой, Сережа. Я сшила тебе первые в твоей жизни короткие штанишки. И если бы я знала, кем ты станешь... А отец мечтал... Ладно, пустой у нас разговор. Знаешь, я давно уже тебя спросить хотела... Ты о Володе Крупенском ничего не имеешь? Ты бы навел справки о нем. Все-таки это твой товарищ. Может быть, ему трудно и плохо теперь и ты бы мог ему помочь. Ты же добрый, Сережа. Зачем ты напускаешь на себя эту черствость, этот революционный пафос, употребляешь какие-то жуткие слова?

— Тетя,— Марин встал из-за стола.— Пирог из остатков прежней жизни был прекрасен. Что касается Володи Крупенского — идет борьба, тетя, уж простите за банальность. В этой борьбе не будет победителей и побежденных тоже не будет. Кто-то просто исчезнет: либо мы, либо они. Надеюсь, что они. Белые.

— Значит, Володя...— Алевтина Ивановна не договорила.

— Я думаю, что он у белых, тетя. Это все, что я могу вам сказать. И заметьте: это только мое предположение.

— В ту минуту, когда тебе придется решать его судьбу, вспомни, что он твой брат,— сказала она упрямо, и голос ее дрогнул.

— Во Христе?

— Не юродствуй. Ты обязан их семье, всем. Если он...

— Если он попросит кусок хлеба,— холодно перебил ее Марин,— я ему отдам свой. Если он выступит с оружием в руках против революции, я его расстреляю.

Она ничего не ответила и молча вышла из комнаты. Марин долго еще сидел у стола и сосредоточенно мял в пепельнице давно погасший окурок. Он думал о том, что Россия раскололась; не разделилась на два враждующих лагеря, а раскололась, безнадежно и безвозвратно. Брат поднял меч на брата, и отец проклял сына. Что ж... Он был уверен в своей правоте, в своей правде, но как заставить поверить в эту правду других? Многих и многих других?

Фотиева подошла к письменному столу и аккуратно поставила на край белую чашку с выщербленным краем. На блюдце серели два невзрачных кусочка сахара.

— А вы уже, конечно, пили чай? — с едва заметной иронией спросил Ленин.

— Конечно, Владимир Ильич,— серьезно ответила Фотиева,— пока у вас сидел господин Уэллс, я выпила ровно одну чашку. Мне передали из секретариата письмо с Украины, оно с грифом «секретно» и адресовано лично вам. Слово «лично» дважды подчеркнуто. Вскроете сами?

— Принесите, пожалуйста,— кивнул Ленин.

Двадцать минут назад ушел Герберт Уэллс. Он был доброжелательно настроен к России, к русской революции. Он не лицемерил, когда сказал, что во всех нынешних бедах страны виноваты отнюдь не коммунисты, а Врангель, Колчак и прочие бандиты,— так он их назвал,— прочие бандиты и тупые буржуа. Что ж... Многое Уэллс подметил очень верно. Например, то, что сегодня Россией управляет самое бесхитростное и самое дилетантское правительство в мире. Конечно, откуда взять ума, когда все с нуля, все заново. А вот, пожалуй, о самом неприятном Уэллс сказал вскользь: делопроизводство в учреждениях ведется плохо и расхлябанно, живое дело повсюду тонет в грудах окурков.

Образно, но поверхностно. А в чем главное? — Ленин задумчиво помешивал остывший чай. Сахар таял медленно. Наверное, в нем было много примесей. Вдруг вспомнилась большая и светлая столовая в симбирском доме, традиционное вечернее чаепитие: чай разливала мама. Иногда к приезду Саши из Петербурга на середину стола ставили большую, ослепительно белую сахарную голову: Саша очень любил чай именно с таким сахаром. Это было почти 40 лет назад...— Так в чем же главное? Бесконечные ошибки в выборе лиц. Огромное количество прекрасных революционеров, но совершенно негодных администраторов, совершенно негодных... Дело подменяется болтовней. Язык у большинства подвешен очень хорошо. Именно поэтому уже успели сделать тысячи ошибок и потерпеть тысячи крахов. И самое страшное: огромное количество сладенького коммунистического вранья, комвранья. Тошнехонько от этого, убийственно! А ведь если это не прекратить, партия может попасть в очень опасное положение, положение зазнавшейся партии. Это положение глупое, позорное и смешное. Неудачам и упадкам многих политических партий предшествовало такое состояние — зазнайства. Этого нельзя допустить. Нет, не постановления и приказы — умелые работники... Только они решат исход дела. Все остальное: и декреты, и ведомства — просто-напросто дерьмо.

— Вот письмо,— напомнила Фотиева.

Ленин вскрыл конверт. На листке, вырванном из ученической тетрадки, разбежались торопливо выведенные слова: «Товарищ Ленин! Мы, группа коммунистов, сотрудников особого отдела Южной армии, считаем своим партийным долгом сообщить вам, что начальник особого отдела Рюн разложился и не имеет права долее оставаться на своем ответственном посту. Рюн пьянствует, нарушает революционную законность, без проверки и следствия расстреливает арестованных. Просим принять срочные меры. Аналогичное письмо нами направлено товарищу Дзержинскому. По поручению коммунистов отдела — Оноприенко».

— Товарищ Фотиева, попросите товарища Дзержинского немедленно приехать ко мне,— сдерживая волнение, сказал Ленин. Он помрачнел, сощурил глаза, через лоб пролегла резкая складка.

Фотиева направилась в соседнюю комнату. Там были телефоны и коммутатор.

— Лидия Александровна,— остановил ее Ленин,— когда я был в ссылке в Шуше, я удивлялся весьма низким урожаям в этом краю. Оказывается, крестьяне никогда, заметьте, со времен царя Гороха, ни разу не вывозили навоз на поля. Они не знали, что навоз — удобрение. Они были искренне убеждены, что такая дрянь уже ни на что не годна. И вот навоз столетиями выбрасывался за околицу и образовал вокруг села топкий и непроходимый ров. Как научить наших людей вообще и наших администраторов в частности самым элементарным вещам?

— Я думаю, что здесь нужна разъяснительная работа,— сказала Фотиева,— меры воспитательные, я думаю.

— Воспитательные...— подхватил Ленин.— Прекрасная мысль, но при наших проклятых обломовских нравах нужно все время следить, подгонять, проверять и бить в три кнута. Глаз себе не засоряя и фразами не отговариваясь. Знаете, уважаемая Лидия Александровна, по моему глубочайшему убеждению, любое зло нужно разоблачить и выставить на позор! Нужно вызывать мысль, волю, энергию для борьбы со злом. Ошибки нельзя скрывать. Кто их скрывает —тот не революционер.

Дзержинский приехал через 30 минут. Ленин тепло и дружески поздоровался с ним, подвел к карте:

— Феликс Эдмундович, вы были начальником тыла на юге. Ваше мнение о состоянии дел.

— Дела не блестящи, Владимир Ильич. Фронты захлестнула стихия. Может быть, теперь, когда комфронтом назначен Михаил Васильевич Фрунзе...

— Уверен,— перебил Ленин.— В армии Фрунзе наведет должный порядок, и если нам суждено разбить Врангеля, это сделают наши южные армии под командованием Фрунзе. На врангелевском фронте умирают теперь десятки тысяч рабочих и крестьян. Там разыгрывается последняя отчаянная борьба.

— Враг вооружен гораздо лучше нас, Владимир Ильич.

— Это так, но на нашей стороне порыв масс, беззаветная вера в революцию. Только учтите: она не вечна, товарищ Дзержинский, эта вера. Ее нужно постоянно питать и поддерживать, и не словами, заметьте, а делами, делами прежде всего. Вот читайте,— он протянул Дзержинскому письмо армейских чекистов. Дзержинский прочитал и положил листок на стол.

— Я не получил такого письма, но это и понятно: думаю, что товарищи послали его по каналам ВЧК, а Рюн, судя по всему, не дремлет.

— В прошлом году мы обменялись письмами с товарищем Лацисом,— Ленин открыл ящик письменного стола и достал конверт.— Он написал мне, что на Украине, к сожалению, собралось немало не очень надежных и не очень способных сотрудников. Он утверждает, что забирать при аресте что-либо, кроме вещественных доказательств, запрещено, но наш человек рассуждает: я разве не заслужил тех брюк и ботинок, которые до сих пор носили буржуа? Ведь это моим трудом добыто, значит, я беру свое и греха тут нет. Отсюда частые поползновения, не пугают даже расстрелы. Смерть стала слишком обыкновенным явлением,— Ленин опустил листок и посмотрел на Дзержинского.— Вы знаете, что я ему ответил? Я ответил, что чрезвычайные комиссии на Украине были созданы слишком рано. Они впустили немало примазавшихся, попутчиков и просто случайных людей. Вы отлично понимаете, что это значит, и я вам вот что скажу: если по такому делу виновные не будут раскрыты и расстреляны, неслыханный позор падет не только на вашу комиссию, товарищ Дзержинский, он падет на всех нас, большевиков.

Дзержинский снял трубку телефона:

— Я должен распорядиться.

— Конечно,— кивнул Ленин.— Отдайте необходимые распоряжения немедленно!

— Коммутатор ВЧК, начальника кадров,— попросил Дзержинский.— Товарищ Голиков, здесь Дзержинский. Приготовьте все о начальнике особого отдела Южной армии Рюне и проверьте, не поступало ли на мое имя письмо из этого отдела.

— Мы говорили о Фрунзе,— Ленин прошел по кабинету и сел на стул рядом с Дзержинским.— Все согласны, что нужно незамедлительно подготовить и про-

вести самое широкое наступление против Врангеля. С ним нужно покончить до зимы. Мы не имеем права обрекать народ на ужас и страдания еще одной зимней кампании. Между тем вам не хуже, чем мне, известно, что территория, занятая на Украине Красной Армией, засорена бандитами, врангелевские агенты почти открыто формируют так называемые повстанческие отряды. Все это означает только одно: особый отдел ВЧК не выполняет прямых своих функций.

И снова снял трубку телефона Дзержинский:

— Коммутатор ВЧК... Начальника оперативного отдела. Артур Христианович, здесь Дзержинский. Пожалуйста, и как можно скорее: офицер, отличное реноме, это для легенды. Кандидатуру нашего товарища согласуйте с Голиковым и Менжинским.— Дзержинский положил трубку.— История с Рюном, если толковать ее широко, это важнейший практический вопрос,— продолжал он.— Речь идет о нашей чести, нашей чистоте. Владимир Ильич, вы можете не сомневаться: мы примем все зависящие от нас меры.

Дзержинский ушел. Ленин долго стоял у карты. Фотиевой, которая вошла в кабинет и остановилась на пороге, показалось, что Ленин изучает положение на фронтах. А он думал совсем о другом... Что дело, которому он отдал всю жизнь целиком, без остатка, только начинает набирать силы и темп и набирает оно эту силу и этот темп очень медленно и очень трудно. Сколько препятствий, сколько самых неожиданных подводных камней, а ведь для того, чтобы их обойти или уничтожить, нужна не просто сила, которой пока не так уж и много, нужен опыт, совершенно невероятный объем знаний и практики. Со вторым легче, а вот знаний... Пока они у очень и очень немногих. И пока у очень и очень немногих из числа руководящих работников есть искреннее стремление эти знания пополнять. Большинство, к сожалению, талдычит о революционном опыте, о том, что нужно учиться у революции... Верно, конечно, но только при одном непременном условии: изучить и взять на вооружение лучший, передовой опыт и знания старого мира, весь запас, обогатить себя всем запасом знаний, которые выработало человечество. Только тогда ты коммунист, только тогда ты можешь вести за

собой массы, без этого же все твои призывы — только лозунги, говорильня, пустые заклинанья, как и деньги, не поддержанные, не обеспеченные экономикой, суть грязные разноцветные бумажки... Ленин повернулся, увидел Фотиеву:

— Лидия Александровна, сколько у нас в аппарате Совнаркома и ЦК коммунистов с высшим образованием?

— Я никогда не считала,— смутилась Фотиева,— думаю, что очень и очень мало, Владимир Ильич.

— Я тоже так думаю. Выясните, пожалуйста, сколько.

— Хорошо,— Фотиева ушла.

Умер Свердлов. Давно уже нет Бабушкина, Баумана и десятков, десятков других верных товарищей, неповторимых друзей. Не за горами расставание. Кто поведет этот корабль дальше? Партию уже сейчас раздирают противоречия и неурядицы, поднимает голову оппозиция и просто всякая нечисть. Сколько раз бывало так, что последователи, отказавшись от революционной сущности учения, самому мыслителю пели бесконечную и нудную аллилуйю, превращали его в безвредную, никому не нужную икону. Подобной метаморфозы может избежать только идейно крепкая, монолитная партия единомышленников, не безликий коллектив, ведомый сильной личностью, а гранитный конгломерат борцов, в котором личность — каждый. Правомерны ли эти сомнения? Любые сомнения правомерны. Но нужны они только для одного: проверять ими текущую работу, исправлять огрехи и недостатки, прямые упущения и даже провалы политики, ибо, если эти провалы вовремя вскрыты и не затушевываются ради дешёвого престижа, они не страшны.

На заседании коллегии ВЧК решался вопрос о принятии самых срочных, самых неотложных мер в связи с резкой активизацией антоновских банд в Тамбове. Пользуясь слабостью местного чекистского аппарата, а подчас и прямым бездействием властей, антоновцы захватили несколько фабрик и усилили террор против местного населения. После доклада командующего внутренними войсками республики Корнева выступил

Дзержинский. Он отметил слабость советских войск на антоновском фронте, особенно слабость кавалерии, и зачитал записку Ленина, в которой тот предлагал незамедлительно направить на антоновский фронт архиэнергичных людей. Мог ли кто из присутствующих думать тогда, что до полной и окончательной ликвидации антоновщины пройдет еще долгих два года. Потом перешли ко второму вопросу и рассмотрели доклад особоуполномоченного ВЧК Лукашова о положении на Северном Кавказе. Лукашов доносил, что руководство Кавказского бюро ЦК личные взаимоотношения сплошь и рядом ставит выше интересов дела, а в борьбе с инакомыслящими товарищами пользуется недозволенными методами. Дзержинский зачитал доклад Лукашова, потом — опровержение Сталина, который требовал предать Лукашова суду за дезинформацию, и, наконец, выводы специальной комиссии, которая признавала оценки Лукашова справедливыми.

— От этого вопроса только один шаг до его обратной стороны,— сказал Дзержинский.— Я имею в виду кадровый вопрос. В центральном аппарате ВЧК и его периферийных органах есть примазавшиеся и просто откровенные карьеристы и проходимцы. Я хочу предупредить членов коллегии, что чистка должна быть беспощадной, а реакция на любое беззаконие — незамедлительной. И так называемых «мелочей» в этом вопросе нет. С завтрашнего дня я предлагаю в те часы, когда население обращается в нашу приемную, посадить у окошечек начальников отделов и их заместителей — все руководство.

— Есть элементарная логика, расчет,— возразил кто-то.— Часы, потраченные руководителем на сидение у окошечка, обернутся невосполнимыми потерями на незримом фронте, на фронте борьбы.

— Сказано красиво,— кивнул Дзержинский.— Но тогда потрудитесь подсчитать дивиденты от несомненного укрепления престижа Советской власти, в случае если коллегия примет мое предложение. Или никто из присутствующих не слышал о бонзах? «Зажравшихся» советских вельможах? Почитайте сводки по этому вопросу и все это вы увидите. Мы должны дорожить чистотой и незапятнанностью наших рядов... И мнением народа о нашем руководстве, а стало быть, мы долж-

ны поднимать престиж руководства, и не словами, а делом.

Заседание окончилось. Все разошлись, только начальник особого отдела Менжинский и начальник оперативного отдела Артузов остались в кабинете Дзержинского. Вечерело. Откуда-то издалека донесся звонок трамвая и, вторя ему, затянул свою бесконечную песню баспстый заводской гудок.

— Это у Гужона,— сказал Менжинский.

— Да бог с вами, Вячеслав Рудольфович,— улыбнулся Артузов.— Это гораздо ближе, это Трехгорка.

— Вы несомненный знаток Москвы,— без тени иронии произнес Менжинский.— Где Гужон, а где Трехгорка? — Короткими жестами он обозначил точное местонахождение обоих предприятий.

— Помиритесь,— предложил Дзержинский,— скажем, на том, что это на электрической станции.

Погас свет. Все рассмеялись. Дзержинский пожал плечами:

— Все очень просто, вы забыли взглянуть на часы. До окончания заводских смен час с лишним. Что-то на станции.

Секретарь внес керосиновую лампу.

— Давайте посумерничаем,— предложил Артузов.

Лампу погасили. Дзержинский спросил:

— Ваше мнение о письме из Харькова?

— Это серьезно,— сказал Артузов.

— Я знаю Оноприенко,— поддержал Менжинский.— Вполне уравновешенный и здравомыслящий человек, преданный товарищ, проверен в деле. Нужно принимать меры решительные, самые решительные...

— Давайте подумаем,— сказал Дзержинский.— Ситуация достаточно деликатная. Украинская республика формально не входит в состав РСФСР. По соглашению с украинским правительством мы должны известить их о предстоящей проверке, то есть предать все дело огласке. Между тем я ознакомился с личным делом Рюна,— Дзержинский начал перелистывать папку.— Только на протяжении 19-го года его работу трижды проверяли специальные комиссии, один раз по жалобе арестованных,— и все впустую. О чем это говорит? — Дзержинский начал говорить торопливо: сло-

ва обгоняли слова, словно он боялся, что вдруг не успеет высказать главную свою мысль — это случалось с ним всегда, когда он начинал волноваться и любой ценой стремился подавить это волнение.— Только о том, что либо Рюн и в самом деле не виновен, либо он умело прячет концы в воду.

— Я верю Оноприенко,— повторил Менжинский.

— Я тоже,— кивнул Дзержинский,— но нам нужны доказательства. Уверен, что официально мы их не получим. Рюн хитер, изворотлив, в конце концов, он профессионал.

— Проведем особую инспекцию,— предложил Артузов.

— Иного выхода все равно нет,— поддержал Менжинский.— Командование Южного фронта в стадии формирования, партийные организации только налаживают работу, да и прав Феликс Эдмундович: в этом деле нужен специалист.

— И политически зрелый работник,— сказал Дзержинский.— Предлагаю обсудить кандидатуру товарища Марина. Мои доводы: огромный стаж конспиративной работы, прекрасно разбирается в людях, авторитетен, заслуживает стопроцентного доверия.

— По-моему, его лучше направить к Врангелю вместо Крупенского,— сказал Артузов.— Опытен, смел, находчив. А для проверки Рюна мы подумаем о другом человеке.

— Дорогой Артур Христианович...— вздохнул Менжинский.— А ведь нет «другого». Есть только Марин — на таком уровне. Пока он. Можно сказать — один. Потом появятся не хуже. Но пока...— он развел руками.

— Что вы предлагаете?— спросил Дзержинский.

— К Врангелю путь один — через Харьков. Там Марин проведет проверку Рюна и двинется в Севастополь. Я понимаю — для одного человека много,— улыбнулся Менжинский.— Но у нас нет другого выхода. Ведь мы решили, что и Рюн не лыком шит. Об этом говорят факты.— Он постучал пальцем по обложке личного дела Рюна.

— Марин справится,— уверенно сказал Артузов,— он и профессионал и политик. Если хотите, мы можем устроить ему экзамен.

— Хм, хотим,— сказал Дзержинский.— Вызовите его, расскажем ему о предложениях шведов и американцев.

С точки зрения Запада Россия агонизировала: бездействующий транспорт, минимум работающих электростанций, заводы, на которых кустарным способом изготавливали зажигалки и горелки для примусов, разоренное сельское хозяйство и несколько поутихший, но все еще свирепый и крайне опасный политический и уголовный бандитизм, и голод, голод, которому не предвиделось конца. По христовым заповедям, России следовало протянуть руку дружбы и помощи. Вместо этого ее границы пересекали бесконечные потоки террористов и диверсантов. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы — подал бы ему змею?» В России умирали от голода дети и старики. А там, на Западе, до них никому не было дела, ибо там, на Западе, уже устали повторять, что все люди мира — братья во Христе. А в многочисленных залах и хранилищах Московского Кремля и Эрмитажа лежат несметные сокровища: Рубенс, Ван-Дейк, Рублев, Леонардо да Винчи, золото и серебро величайших мастеров готики и Возрождения, драгоценные камни, равных которым не знали ни августейшие особы, ни сталелитейные и нефтяные магнаты. Почему бы все это не прибрать к рукам всего лишь за кусок хлеба? Какие-то второстепенные вещи в самые трудные месяцы 18-го и 19-го Советское правительство все же вынуждено было обменять на хлеб и консервы. Высокопоставленные барышники из Лондона и Вашингтона не сомневались в успехе и теперь, осенью 20-го года...

Марин вошел в кабинет Дзержинского. Он был уверен, что речь пойдет о плане проникновения в ставку Врангеля, а разговор пошел совсем о другом.

— Сергей Георгиевич,— сказал Дзержинский,— у республики нет самого необходимого: от сахара и соли до станков и паровозов, нет хлеба...

— Все это можно получить на Западе. Шведы и американцы предлагают обмен,— сказал Менжин-

ский.— Нужно учесть, что мы готовим наступление на Врангеля.

Дзержинский подошел к Марину вплотную.

— Переброска войск потребует огромного количества подвижного состава, особенно паровозов, а их-то... у нас в обрез.

— Что они хотят взамен? — спросил Марин.

— Рубенса, Ван-Дейка, английское серебро XVI века из Оружейной палаты и многое другое. Вы специалист, вы окончили Академию художеств, ваше мнение?

— Нет.

— Почему?

— Вы же сами сказали, что я специалист. Какой же русский художник согласится на грабеж? Феликс Эдмундович, здесь должен решать не специалист, а политик.

— Ну вот и решайте.

— Трижды нет.

— Аргументируйте.

— Врангель — противник очень серьезный: боевой генерал, стратег, политик, популярен в армии, пользуется поддержкой Антанты, однако лично у меня нет сомнения: до зимы Врангеля не станет.

— А если нет? — спросил Менжинский.

— А если нет,— повторил Марин,— он получит сокровища Кремля и Эрмитажа без нашей с вами помощи. Повторяю: я лично такой поворот исключаю. Революция — факт необратимый, Вячеслав Рудольфович. Ни Колчак, ни Деникин ничего не изменили, ничего не изменит и Врангель, а если так, не позднее 30-го года у нас будут тысячи паровозов и миллионы тонн собственного хлеба. К сожалению, ни Рубенс, ни Ван-Дейк не родятся заново, чтобы заново наполнить наши музеи шедеврами. Разрешите вопрос?

Дзержинский молча кивнул, и Марин спросил:

— Какова цель этого экзамена, Феликс Эдмундович?

— Просьба Владимира Ильича Ленина,— сказал Дзержинский,— он дал ВЧК личное поручение. Это задание мы решили доверить вам. Расскажите о Крупенском.

— Он учился в мастерской Бруни, только не Федора Антоновича — автора медного змея, а...

— ...а Николая Александровича,— перебил Менжинский.— Эти подробности вы, пожалуйста, опустите. Человеческая и политическая сущность Крупенского?

Марин с трудом скрыл удивление. Об эрудиции Менжинского ходили легенды. Начальник особого отдела ВЧК изучал древних философов на китайском и японском, свободно читал, писал и разговаривал еще на семнадцати языках европейских и азиатских.

— Мм... был близок к известному монархисту Пуришкевичу, это знакомый Крупенских еще по Кишиневу, не чурался общения с Прониным и Крушеваном — это вообще мракобесы.

— А Пуришкевич, по-вашему, не совсем мракобес? — спросил Менжинский.

— К сожалению, я о нем ничего не знаю. Кажется, он вместе с Юсуповым участвовал в убийстве Распутина? — смутился Марин.

— Владимир Митрофанович Пуришкевич, к счастью, уже умер,— сказал Менжинский,— это правый депутат Думы, ярый монархист, наш лютый враг. Это его маска. Под маской же — секретный агент дворцовой охраны, секретный агент департамента полиции, получал от тех и других по пятнадцать тысяч ежегодно на поддержание «Союза Михаила Архангела» и прочих «борцов» за Россию.

— Тогда мне понятны и показная религиозность Крупенского, и его фанатизм,— сказал Марин.— Я считал это блажью обычного белоподкладочника.

— Что вы можете сказать о его чисто личных качествах?

— Смел, настойчив, тщеславен.

— Это интересно,— заметил Артузов.— Приведите факты.

— Извольте. Президентом Академии художеств был дядя царя, великий князь Владимир Александрович. Это знаток искусства, он поддерживал журнал «Мир искусства» и все балетные затеи Дягилева. По натуре человек весьма добрый.

— Великий князь? — подчеркнуто спросил Артузов.

— Великий князь,— спокойно подтвердил Марин.— В 906-м году президент изъявил желание сфотографироваться с советом академии. Пригласили и лучших учеников-медалистов. Крупенский плохой художник, но хороший психолог. Он подошел к Владимиру и сказал: «Ваше высочество, я прошу разрешения осмотреть вашу коллекцию икон. Я попытаюсь перевести их в мозаику». Владимир считал свою коллекцию лучшей в России и согласился. Крупенский пóходя попал на фотографию.

Артузов и Дзержинский переглянулись.

— А где эта фотография? — спросил Артузов.

— Она опубликована в юбилейном издании академии,— сказал Марин.— Крупенский третий слева, во втором ряду снизу, как раз под великим князем.

— Это меняет дело,— покачал головой Артузов.— Это улика.

— Отнюдь,— возразил Менжинский.— Издание редчайшее, всего тысяча нумерованных экземпляров. Предназначалось для подарков. В библиотеках его нет, разве что в Румянцевской. Мы подумаем, что тут можно сделать. Теперь о вашем задании. Южная армия и предполагаемый район ее наступления — основное звено в плане комфронта. К началу наступления этот район должен быть свободен от бандитских формирований. Необходимо также максимально очистить тылы армий от врангелевской агентуры. Для этого должен в полную силу работать особый отдел.

— По нашим данным,— вступил в разговор Дзержинский,— начальник особого отдела Рюн разложился, обстановка в отделе нездоровая, выполнять свои функции нормально отдел не может. Конечно, честных, преданных революции товарищей, партийных и беспартийных, в отделе достаточно, они-то и станут вашей опорой на первых порах. К сожалению, многие из них запуганы Рюном. Вам будет трудно.

— Официальная проверка Рюна, как вы понимаете, нецелесообразна,— сказал Менжинский.— Вам поручается особая инспекция. Артур Христианович, покорнейше прошу продолжить.

— Это первая часть вашего задания,— сказал Артузов.— Теперь о второй. Задача Крупенского состояла

в том, чтобы помочь генералу Климовичу, начальнику контрразведки Врангеля, поставить дело на широкую ногу. Крупенский дал развернутые показания. Планируются самые широкие акции: убийства активистов, поджоги, взрывы складов, порча подвижного состава. Словом, цель одна: любой ценой сорвать или хотя бы оттянуть до зимы начало наступления товарища Фрунзе.

— Что абсолютно исключается,— вмешался Дзержинский.— Абсолютно.

— Для реализации этих планов Крупенский должен был занять соответствующий пост в контрразведке Врангеля,— улыбнулся Марин.— Теперь этот пост займу я.

— Юмор — это прекрасно,— заметил Артузов,— но не преждевременно ли?

— По-моему, все совпало с тем, что вы предполагали, Сергей Георгиевич, я не ошибся? — спросил Дзержинский.

— Не ошиблись, Феликс Эдмундович,— сказал Марин.— Крупенский мне это назначение предсказал еще при первой встрече.

— Проницателен,— заметил Дзержинский.— Постарайтесь сыграть его роль достоверно.

Марин кивнул в знак согласия и подумал про себя, что, наверное, не стоит говорить Дзержинскому и всем остальным о том, что проницательность Крупенского, да и его чистосердечное признание не более чем дьявольская уловка, преследующая только одну цель: отправить его, Марина, в пекло и наверняка погубить и тем самым отомстить разом за все. Не стоит об этом говорить, да и просто нельзя, потому что могут подумать: Марин испугался. И отменят задание, пошлют другого. «А почему должен идти другой, почему не я? — думал Марин.— Другому, поди, будет куда как труднее...»

— Я постараюсь, товарищ Дзержинский,— сказал Марин.

— Насколько мы смогли выяснить,— сказал Артузов,— в ближайшем окружении Врангеля у Крупенского знакомых нет. Что касается более отдаленных связей, в Бессарабии, их трудно проверить и господину Врангелю, и нам: Бессарабия у румын. В общем, с этой

стороны все более или менее пристойно, я считаю. И последнее. Мы дадим вам определенный срок, чтобы вжиться в шкуру Крупенского. Имейте в виду: он отлично стреляет, он религиозный фанатик, он участник екатеринбургского заговора. Все эти обстоятельства должны быть включены в вашу легенду.

— Побольше сладких воспоминаний детства,— посоветовал Менжинский.— Быт, семья, дом, связи — в этом ваша главная опора.

Марин вернулся домой поздно вечером. Пока он мыл руки, Алевтина Ивановна стояла в дверях ванной и держала полотенце.

— Ты что-нибудь узнал о Володе Крупенском? — она заглянула ему в глаза.

«Черт знает что,— раздраженно подумал Марин.— Мистика какая-то. Откуда она взяла? Или чувствует?.. Чистая поповщина, как бы сказал Артузов».

— Тетя,— он старался сдерживаться,— я знаю о Володе не более вашего, и вообще я очень устал, завтра у меня трудный день. Я уезжаю, между прочим.

— На фронт? — Она побелела и покачнулась. Марин поддержал ее, и вдруг волна горячей нежности и любви к этой старой и взбалмошной, но бесконечно прекрасной женщине нахлынула на него, и он поцеловал ее руку и сказал:

— Нет, тетя, нет, в Петроград. Там нужно помочь.

Она успокоенно кивнула и погладила его по голове:

— Садись ужинать, стол накрыт.

«И слава богу,— подумал Марин,— поверила, хотя наврал я ей очень и очень глупо». «Помочь» в Петрограде, это значило практически не выходить из-под огня бандитских револьверов, это значило сутками сидеть в засадах и каждую секунду подставлять свою спину под удар ножа или выстрел из-за угла. Оперативная обстановка в Петрограде была гораздо напряженнее, чем в Москве, и хорошо, что Алевтина Ивановна не имела об этом ни малейшего представления. Но поужинать Марину в этот вечер не пришлось: пронзительно зазвенел дверной звонок, послышался мужской голос: «Я к товарищу Марину. Моя фамилия Юровский».

Марин вышел в коридор. У вешалки стоял высокий, плечистый человек в простой косоворотке под поношенным пиджаком, коротко стриженный, с усами, черными нависшими бровями и острым взглядом больших коричневых глаз.

— Меня к вам направил товарищ Артузов,— сказал Юровский.— Предупредил, что срочно, да, признаться, я и сам завтра уезжаю из Москвы, так что не обессудьте за столь поздний визит.

— Чем могу служить? — Марин пропустил Юровского в столовую.— Тетя, дайте нам чаю.

Алевтина Ивановна ушла на кухню.

— Меня зовут Яков Михайлович,— сказал Юровский.— Служить вы мне не можете. Скорее, наоборот. Я— председатель Уральской губчека. Так что, Сергей Георгиевич, задавайте вопросы.

— Все понял,— рассмеялся Марин.— Спасибо, что пришли.

Алевтина Ивановна принесла чай в подстаканнике и, неприязненно взглянув на Юровского, ушла.

— Не понравился я вашей маме,— сказал Юровский.— Моей матери примерно столько же лет...

— Дело не в этом,— улыбнулся Марин,— тетя с трудом воспринимает перемены, а вы слишком очевидно принадлежите к тем, кто «был ничем». Она знает «Интернационал» наизусть и на дух его не принимает. Ну, о тете всё. Теперь вопросы. Фамилия «Крупенский» вам что-нибудь говорит?

— Да. Летом 18-го мы вышли на группу заговорщиков — офицеров Академии генерального штаба. Эта академия случайно застряла в Екатеринбурге и вынуждена была существовать там уже при Советской власти. Так вот, среди этих гадов был и Крупенский. Владимир, если не ошибаюсь.

— Он. Какова его роль в заговоре?

— Была? — уточнил Юровский.— Через монахинь монастыря он выходил на связь с Романовыми, дирижировал этим делом. Так можно сказать...

— Яков Михайлович, подумайте: перед вами Крупенский, но вы не очень уверены в этом, хотите уточнить. О чем вы его спросите, чтобы убедиться? С позиций екатеринбургских событий, разумеется.

Юровский задумался, потом сказал:

— Я бы вот о чем спросил: «Как выглядела та комната, в доме инженера Ипатьева, в которой были расстреляны Романовы? Что было написано на обоях, над тем местом, где упала после выстрела служанка Демидова?» Вполне достаточно, я думаю... Крупенский был в этой комнате. Сразу же, как войска Колчака взяли Екатеринбург, он оказался в следственной комиссии Соколова и Дитерихса. Все видел собственными глазами, так что на такой вопрос настоящий Крупенский просто обязан ответить...

Юровский положил на стол ученическую тетрадку:

— Товарищ Артузов попросил меня все записать. Здесь вы найдете даже мелочи. Если в нашем деле они вообще существуют,— едва заметная усмешка тронула губы под усами.— Сергей Георгиевич, поздно, я должен идти.— Он встал и направился к дверям. От его плотной тяжеловатой фигуры исходила какая-то странная сила и уверенность.

— Скажите,— остановил его Марин,— расстрел Романовых произвели вы? Поймите правильно, это не праздное любопытство, это психология. Если вам неприятно почему-либо говорить, считайте, что я не задавал этого вопроса.

Юровский молча и не мигая смотрел Марину прямо в глаза.

— Знаете, вы все это неверно себе представляете. Да, Романовых расстрелял лично я. Вы говорите «психология», и я так понять должен, не испытываю ли я угрызений совести или мук души? Нет, не испытываю. Двое из команды тогда отказались стрелять. Мы их отпустили. А я? — Он пожал плечами.— Попробую вам сформулировать. Вот товарищ Ленин, например, как он говорит? «Диктатура пролетариата есть власть, никакими законами не ограниченная, и опирается эта власть на насилие». Это первое. Второе. Романовы триста лет давили народ и пили его кровь. Они исторически были обречены: и государственно и лично. Это вроде бы оправдание? Нет, разъяснение. Я действовал по убеждению, во имя революции, для блага народа и государства. Знаете, пройдет время, улягутся страсти, потомки рассудят, кто есть кто. Кто казнил по воле народа, кто казнен...

Он надел фуражку. Лицо его стало жестким, и взгляд непримиримо блеснувших глаз кольнул Марина.

— Стыдиться и скрывать здесь нечего и незачем. Хочу верить, что и те, счастливцы, которые будут жить после нас, будут исповедовать эту простую истину: мы пролили черную кровь, мы с корнем вырвали самую мысль о возврате самодержавия. Не-ет, нам нечего стыдиться и нечего скрывать.— Он вдруг улыбнулся и тронул Марина за плечо: — Знаешь, браток, в нашем с тобой деле, в нашей профессии слюнтяйство никак не уместно. Вот некоторые слюнтяи из Уралсовета не разрешили мне сразу же по моем вступлении в должность коменданта обыскать Романовых. И в итоге республика лишилась колоссальных ценностей. Ты можешь мне верить. Я в этом деле знаю толк, я ведь был и ювелиром тоже.

— Но ведь у них все было отобрано Временным правительством? — спросил Марин.

— После расстрела я обнаружил полпуда бриллиантов,— сказал Юровский.— Это 8 килограммов, это 8 тысяч граммов, это 40 тысяч каратов первоклассных камней. А сколько они успели рассовать по надежным людям, спрятать? Нет, друг, ты меня еще вспомнишь. Придет день, и мы, ЧК, вынуждены будем заняться этой историей. Она еще не кончена.— Он крепко, до боли стиснул ладонь Марина. Громыхнула входная дверь.

Алевтина Ивановна выглянула с кухни, спросила:

— Ушел? Ну и слава богу.

— Не понравился?

— Не приведи господь. От этого человека веет преисподней.

— Нет, тетя,— жестко сказал Марин.— Вы неправы. На долю этого человека выпала не самая легкая работа в революции. Не каждый бы это смог на его месте.

Зазвонил телефон. Марину ни с кем разговаривать не хотелось, и он жестом предложил взять трубку Алевтине Ивановне. Она долго слушала, потом сказала:

— Хорошо, я ему передам. Сейчас его нет дома.

— Кто это?

— Дежурный.— Она посмотрела Марину прямо в

глаза.— Он сказал, что тебя срочно желает видеть задержанный «беляк». Кто это?

— Еду,— Марин натянул куртку.— Спокойной ночи, тетя.

— Сережа, кто этот «беляк»?

— Тетя, ваши мистические прозрения мне совершенно ни к чему,— едва сдерживаясь, сказал Марин.— Заприте дверь, я буду через час.

Его и в самом деле хотел видеть Крупенский, об этом сообщил дежурный прямо с порога.

— Что у него за пожар,— вздохнул Марин,— утро вечера мудренее, а я устал.

— Не мудренее,— сказал дежурный.— У Крупенского утра не будет.

— Когда постановили?

— Только что. Ему уже объявлено.

И снова он застал Крупенского лежащим на койке.

— Отдаю должное твоим нервам.

— А я снова заявляю: они у меня ни к черту!

— Я слушаю тебя.

— Что?! Ах, да... Ты так понял, что подполковник Крупенский перед казнью желает сделать важное признание.

— А разве нет?

— Да! Но не в том смысле, в каком ты думаешь. Слушай меня внимательно: тебя решено послать вместо меня.

— Решено.

— У-у... откровенно. Впрочем, я ведь уже труп. Не важно, я продолжаю. В прошлый раз я пообещал тебе тьму восторгов с того момента, как ты станешь Крупенским. Так вот, хочу добавить: я сказал почти все. Но... есть одна маленькая деталь. Она лежит на пове-ерхности, Сережа... Ни ты, ни твои начальники не догадаетесь о ней, и не потому, что вы дураки. Просто невозможно догадаться, понимаешь? Я выражаю твердую уверенность в том, что эта деталь приведет тебя туда же, куда уйду через час-другой и я. Желаю удачи, господин Крупенский. И про-о-щайте, адье...

— Прощай,— Марин вышел из камеры.

По пути в дежурную часть он размышлял над поступком Крупенского, но ни к каким выводам не пришел, и только в машине, по дороге домой понял: Кру-

пенский хотел выбить его из колеи и, кажется, достиг этого, потому что наверняка знал: об этом разговоре Марин не скажет руководству ВЧК ни слова. Нельзя сказать, ибо все построено на весьма тонком и деликатном обстоятельстве и состоит оно в том, что заявление Марина может быть воспринято как сомнение, или даже трусость, или даже ложь, кто знает... А не хочет ли Марин отвертеться от выполнения безнадежного задания? И в самом деле, что сказать Дзержинскому? «Крупенский умолчал о некоей детали, которая приведет меня на плаху». Ах, как точно все рассчитал этот мерзавец... Ну, допустим, он, Марин, сейчас, немедленно известит Дзержинского. Привезут Крупенского на допрос, и скажет Крупенский, улыбаясь и пожимая плечами: «Помилуйте, господин Дзержинский, о чем речь, какая «деталь»? Вам не кажется, что ваш сотрудник просто трусит?» Нет, Крупенскому, конечно, не поверят, но и его, Марина, конечно же, не пошлют. Пойдет другой, пойдет на верную гибель... «Если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только для себя, тогда зачем я?»

Утром Менжинский вызвал Марина на служебную дачу в Нескучный. Моросил дождь. Серая гладь Москвы-реки подернулась серебряной рябью.

— Плохо себя чувствую,— смущенно улыбнулся Менжинский,— одышка, слабость. Покорнейше прошу простить, что заставил вас тащиться в такую даль. Как настроение?

— Бодрое,— отшутился Марин.

— Да? — с сомнением спросил Менжинский. — Этой бодрости, я чувствую, добавил вам сегодня ночью Крупенский.

— Мне бы не хотелось об этом говорить, Вячеслав Рудольфович,— сказал Марин.— Изменить уже ничего нельзя.

— Ну что ж,— сказал Менжинский.— Понимаю, что о чем-то достоверно важном вы бы не умолчали.

— Я уверен в успехе.

— М-м-м... Примите совет. Вы думаете, что знаете Крупенского, знаете его прошлое?

— Полагаю, что да.

— Так вот, вы ничего не знаете. С этих позиций вы

все время будете начеку. Вы изучили тетрадь, которую я вам дал, и тетрадь Юровского?

— Спасибо, с большим интересом.

— Хочу на словах уточнить два обстоятельства,— сказал Менжинский.— Первое. Рюн арестовал некую Лохвицкую, она торговка из Курска, но есть данные, что это прикрытие. Оноприенко считает, что эта женщина связана с генералом Климовичем — вашим будущим шефом. Мы подумали, что вам следует попытаться войти в контакт с этой дамой. Если, конечно, сведения в отношении нее подтвердятся. Кстати, два обстоятельства окончательно все решили.

— Что именно?

— Были сомнения, правомерно ли нагружать вас двумя заданиями. Но уж коль скоро эта Лохвицкая сидит у Рюна и весьма вероятно — окажется вам полезной,— кому, как не вам, заняться и самим Рюном тоже? К тому же вы уже бывали в Харькове, знаете город.

— Я понял.

— И второе. Мы длительное время перехватывали радиошифровки из Парижа. Они идут транзитом через многие радиостанции. Смысл их неясен, но все они адресованы некоему Викторову. Он тоже из аппарата Климовича. Нас интересует этот Викторов, попытайтесь его установить.

— Есть.

— Теперь о самом Климовиче. Вы знаете, он бывший директор департамента полиции, сенатор, генерал... Один из столпов политического розыска, знаток подполья, методов и способов нелегальной борьбы. Будьте с ним предельно осторожны.

— Ревтрибунал в 18-м году в Петрограде не нашел за ним вины и освободил от наказания,— сказал Марин.— Вряд ли это было разумно. Показная мягкость дорого нам обошлась. Это палач.

— Вот и помните о том, что Климович мягкости не проявит,— улыбнулся Менжинский.— Феликс Эдмундович виделся с товарищем Лениным. Вам просили передать: вы выполняете не просто ответственное задание ВЧК, вы выполняете личное поручение Председателя Совнаркома республики. Прощайте, Сергей Георгиевич. Вернее, до свидания.

В поезде он уснул мертвым сном впервые за два года. По сути дела, за эти два года он просто отвык, разучился спать нормально и перестал различать день и ночь. Не было у него утра, дня, вечера, ночи, были просто сутки и в них двадцать четыре часа. Когда удавалось, он выкраивал из этих двадцати четырех пять-шесть часов для сна, а то и меньше. От хронической бессонницы белки глаз у него покрылись сеткой красного кракелюра, словно живописный холст столетней давности. Веки опухли и воспалились. И вот мерный стук колес, перезвон гитары, негромкий, баюкающий разговор мешочников о селедочно-самогонных проблемах, и он расслабился, уснул мертвым сном. Он забыл, пусть всего лишь на мгновение, что в подобной ситуации вожжи отпускать нельзя, это чревато. Что ж, шел только второй год революции и он ехал по своей территории. Десять лет спустя, во Франции, уходя от кутеповских агентов, он уже не позволит себе спать в аналогичных обстоятельствах, он станет старше и профессиональнее ровно на десять лет. А теперь позволил всего лишь на мгновение, и это мгновение обошлось ему очень и очень дорого...

Поезд прибыл в Харьков на рассвете. Вдоль перрона тускло светили грязные фонари, цепь красноармейцев, вытянувшись вдоль вагонов, преграждала выход в город. Крича и ругаясь, пассажиры хлынули на перрон, мелькали мешки и чемоданы, баулы и свертки — обычная вокзальная суета. Марин дождался, пока вагон опустел, и неторопливо зашагал к выходу; с минуты на минуту должен был появиться Оноприенко. Перрон опустел. Из дверей вокзала вывалились трое в кожаных куртках с маузерами-раскладками в деревянных кобурах через плечо. «Сейчас начнут проверять вагоны,— понял Марин.— Черт возьми, где же Оноприенко?» Марин забеспокоился. «Обычная наша нераспорядительность и неразбериха,— с раздражением подумал он.— Конечно же, собрался Оноприенко на вокзал, а начальничек — ключик-чайничек, и скажи ему: «Ты, мол, друг, вчерашнюю «бамагу» написал? — Нет.— Ступай, дописывай. Что? Встреча с человеком у тебя? Подождет человек...»

Патруль скрылся в последнем вагоне. Марин находился где-то в середине состава. Через пять минут они

будут здесь. Марин полез в карман, чтобы приготовить бумажник с документами на имя Русакова. Было решено еще в Москве, что он использует те, которые отобрали у Крупенского при аресте. Это были внешне вполне добротные советские документы, «липа» высокого класса. Бумажника не оказалось на месте, в подкладке пиджака зияла огромная дыра. «Бритвой, когда я спал»,— сообразил Марин и смачно выругался в сердцах. Бросился в коридор, в тамбур, подергал ручку дверей. Заперто. Это был самый настоящий капкан. С другого конца коридора уже слышались неторопливые шаги проверяющих. «Что же делать? Что? — лихорадочно соображал Марин.— Документов нет, никто не встретил. В подкладке рукава — шелковка. Найдут — и, чем черт не шутит, в ажиотаже такой удачи шлепнут на рассвете, и вся недолга. Назваться? А личное поручение? А особая инспекция? Все к чертям собачьим? Пока еще новый товарищ войдет в курс дела, приедет, сколько этот Рюн успеет дел понаделать, да и Врангель ждать не станет, он пошлет в Париж курьеров и запросит Маклакова по радио, и все — лопнула операция, как мыльный пузырь. И виноват он, Марин, чекист с двухгодичным стажем, большевик с подпольным стажем, опытный конспиратор и абсолютный лопух. Увы!»

— Почему задержались? — послышалось позади.— Документы?

— Нету...— вздохнул Марин.— Вот,— он показал вырезанную подкладку пиджака.

— Та-ак,— чекисты обвели его подозрительным взглядом.— Кто, куда, зачем?

— Русаков, художник, ищу работу.

— А в Москве нет ее?

— Есть, да мне не подходит.

— Ах ты, господи,— сочувственно улыбнулся чекист.— Вы-то хоть сами понимаете, что врете плохо и поверить вам никак нельзя?

Марин молча пожал плечами, что, наверное, должно было означать «воля ваша».

— Идите,— приказал чекист.

В вокзальном вестибюле он подозвал молоденького милиционера с винтовкой и сказал:

— Значит, так, тип — сильно подозрительный. Ут-

верждает, что обокраден в поезде. Доставь в район, пусть им займутся ваши.

— Так он же, гад, вылитый ахвицер,— сказал милиционер, ощупывая Марина цепким взглядом,— стало быть, он не по нашей, а по вашей части.

— Так,— чекист почесал затылок.— Ты прав, но ты не совсем... прав. Похож еще не значит и в самом деле офицер. Пока он просто обокраденный гражданин РСФСР. Так? А стало быть, вам и заниматься, милиции. А вот докопаетесь, что он белый, милости просим к нам, в ЧК.

— Пошел за мной,— хмуро приказал милиционер и перевесил винтовку с левого плеча на правое. Чувствовалось, что он крайне недоволен таким решением чекиста.

Вышли на привокзальную площадь. На ней торговали съестным, старой одеждой, шныряли подозрительного вида молодые люди, здание Южного вокзала, когда-то выкрашенное в красивый желтый цвет, поблекло, загрязнилось и словно вросло в землю, не спасал даже ренессансный купол, все смотрелось уныло и безнадежно.

— Хитрые они,— вдруг сказал милиционер,— ты сам посуди: у нас задержанных за день три сотни набегает, а у их — десяток, наших пять человек, а у их — сотня. Где ж справедливость? Дело-то, поди, общее, так нет же, они не кто-нибудь, ЧК, и все спихивают нам, милиции. Вот ты, например, бывший ахвицер?

— Художник я.

— Ну и врешь! От тебя за версту прет золотопогонником!

«И прекрасно,— думал между тем Марин.— Если прет, значит, и у Врангеля легче будет ходить, хотя... по чести сказать — там экзаменаторы посерьезнее. Что же теперь делать? Адрес явки — Сумская, 25. Значит, задача одна...» Марин повернулся к милиционеру:

— Хочу по нужде.

— Не положено.

— А я не могу больше терпеть,— Марин обвел глазами улицу, она была пустынна.

— Ну и не терпи,— равнодушно сказал милиционер.— Не положено и не положено.

— Однако,— протянул Марин,— что же мне теперь, лопнуть?

— А это как хочешь...

Марин повернулся к милиционеру и, придав своему лицу самое злобное выражение, на какое только был способен, крикнул:

— Даешь сортир!

— Ну, ты,— милиционер сорвал с плеча винтовку и взял ее наперевес.— Отходи, ваше благородие, а то с дыркой будешь.

Марин схватил винтовку за ствол, потянул на себя и одновременно сделал шаг в сторону. Милиционер растянулся на булыге лицом вниз.

— Я твое «ружо» вон в том парадном оставлю,— миролюбиво сообщил Марин,— считай до трехсот, потом встанешь и заберешь «ружо». Все понял?

— Так ведь меня засудят,— жалобно сказал милиционер.— Как же это?

— А так: вернешься через час на вокзал и доложишь тому, в кожаной куртке: задержанного, мол, благополучно сдал. Расписки никакой не надо?

— Не-е, некогда расписки писать. А ты голова,— восхитился милиционер,— даже жалко.

— Чего же тебе жалко?

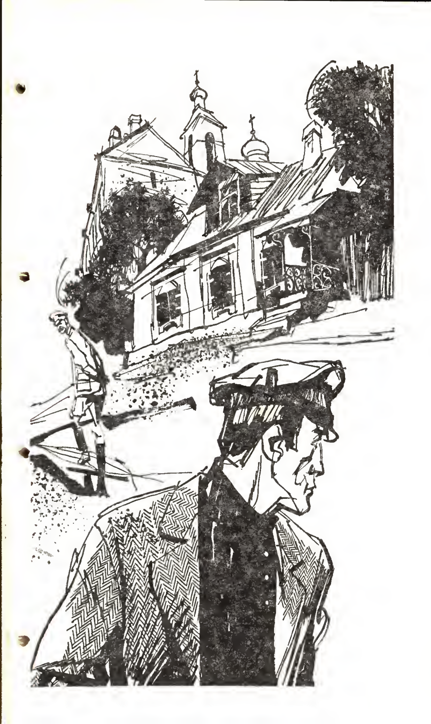
— Так ведь споймают тебя и к стенке прислонят. Так на так, куда ты денешься, ваше благородие?

«Прав, подлец,— грустно подумал Марин.— Выкрутиться из этой ситуации ох как не просто; если, конечно, Оноприенко опоздал по дурости и разгильдяйству, тогда шанс есть»,— он вдруг вспомнил текст послания к Ленину, подписанный Оноприенко, и понял окончательно, бесповоротно и безнадежно, что задержался Оноприенко отнюдь не по расхлябанности, что-то с ним случилось, и дай бог, если это «что-то» еще удастся поправить.

Оставалась последняя возможность: идти на явку самостоятельно. Марин подозвал извозчика и коротко бросил:

— На Сумскую.

Извозчик прицокнул, лошадь взяла хорошей рысью, выехали на Чеботарскую, потом по Бурсацкому спуску



на Рымарскую и вывернули на Сумскую. Она изменилась. В 19-м, когда Харьков занимали белые, по Сумской с утра и до позднего вечера фланировали подтянутые офицеры с нарядными дамами под руку, проносились лихачи, серые в яблоках лошади стремительно несли лакированные экипажи. Кто-то из местных дам рассказал тогда Марину, что при белых Харьков вообще преобразился: былой губернский, даже университетский, но все равно ужасно провинциальный городишко вдруг превратился чуть ли не в столицу. Правда, было много пьяных, а в связи с этим драки, скандалы и поножовщина. Полиция едва справлялась. Поговаривали, что виной тому командующий армией генерал Май-Маевский. Толстый, обрюзгший, с огромным животом, в кителе мешком и пенсне, повисшем на кончике красного от спирта носа, он являл собой жалкое зрелище. Рыба гниет с головы — старая истина. «Май», как его называли в армии, пил, и пил подчас без просыпу. А Деникин почему-то с ним не желал расстаться, может быть, потому, что Май знал свое место: не интриговал и не лез в правители. У добровольцев было три таких командира. Кроме Мая, знаменитый Мамонтов, белый «товарищ Буденный», как его здесь язвительно именовали за огромные усы, трус, авантюрист и пустое место с военной точки зрения. Буржуазная пресса много писала о знаменитом рейде Мамонтова по тылам красных, а ведь вся эта писанина, как, впрочем, и сам рейд, были сплошным фарсом. Орды мамонтовцев грабили магазины, церкви, обывателей, но в бой с красными ни разу не вступили. Зато каждый участник рейда обеспечил себя барахлом по гроб жизни. Третьей знаменитостью добровольческой армии был генерал Шкуро, пьяница и скандалист. Все эти подробности невольно вспоминались Марину, когда он проезжал мимо офицерского собрания, в котором был несколько раз, мимо штаба Май-Маевского.

Теперь улицы Харькова стали иными. Не было больше нарядной толпы, только редкие прохожие и воинские части на марше. Одна из них преградила путь коляске Марина совсем неподалеку от дома 25. Шел полк Красной Армии тремя походными колоннами, с оркестром и развернутым знаменем. На кумачовом полотнище топорщились не слишком умело нашитые ли-

теры из белой материи: «Смерть Врангелю», и штыки колыхались вразнобой, и одежда была поношенной, а усталые лица были еще черны от безжалостного степного солнца и словно присыпаны едучей пылью пройденных шляхов. Но медь оркестра сверкала так ярко, так яростно, и зов трубы был неумолим: «На бой кровавый, святой и правый»... Рядом с коляской остановился прохожий в потертом офицерском кителе, с усиками под мясистым носом. Бросил на Марина равнодушный взгляд и кивнул в сторону красноармейцев:

— Сила!

Марин промолчал, а усатый продолжал:

— Только против генерала Слащева им не устоять.

Марин не отвечал, и усатый раздраженно произнес:

— Он-то уж из них требуху выбьет. Или нет?

— Вы желаете знать мое мнение о генерале Слащеве? — холодно спросил Марин и подумал про себя: «Гнида чертова, пристанет же вот так ни с того ни с сего скучающий кретин, а ты изволь вести с ним полемику. Однако с чего он ко мне привязался?» — Извольте, я скажу,— продолжал Марин.— Наркоман и забулдыга ваш Слащев. И ни из кого он требухи не выбьет. Из него — другое дело.

— Я понял,— кивнул усатый.— Вы бывший офицер.— Он подчеркнул слово «бывший».— Вы теперь за них,— он ткнул пальцем в сторону мерно шагавших колонн.— Честь имею.— Он поднес ладонь к козырьку фуражки.— Надолго к нам?

«Чего он ко мне привязался? — окончательно встревожился Марин.— Что ему нужно?»

— Ненадолго,— Марин вышел из коляски.— Я приехал похоронить двоюродную тетю. Похороны уже состоялись, и через час я отбываю.

— Куда, если не секрет?

— В сторону.

— В какую?

— В противоположную. У вас еще есть вопросы? Вы не стесняйтесь, я разъясню.

Усатый улыбнулся и ушел. Провожая взглядом его увесистую фигуру, Марин подумал: «Нет, он далеко не кретин, и любопытство его не было праздным. У него была четкая и ясная цель, только какая?»

Колонна войск прошла. Марин пересек улицу. Вот он, дом 25, одноэтажный, с крыльцом в четыре ступеньки, с навесом на кованых ажурных кронштейнах, все ставни закрыты, на дверях огромный амбарный замок.

Этот дом принадлежал профессору харьковского ветеринарного института Косякову. При белых он служил явкой городского подполья, теперь же им решили воспользоваться потому, что к ЧК он не имел отношения и Рюн о нем ничего не знал. Так, во всяком случае, утверждал Оноприенко, когда готовилась операция.

Марин подошел к дверям, на замке была ржавчина, и не та, застарелая, которая бывает на таких вещах словно изначально, от рождения, а хрупкая, нежная, возникшая всего ничего, два-три дня назад. «Значит, Оноприенко здесь тоже не был, ибо что-то случилось из ряда вон...» Если до сих пор у Марина еще теплилась слабая надежда, то теперь она угасла окончательно. Игра его величества случая поставила его на край пропасти.

Он сошел с крыльца и перешел на другую сторону улицы. Снова и снова он перебирал в уме возможные решения. Прийти в ЧК нельзя, это ясно. Тогда отбросить первую часть задания и двинуться в Севастополь, к Врангелю? Но обеспечить проход через бандитские места, через фронт должны были местные чекисты. Сможет ли он пройти сам? Не берет ли на себя слишком много? А «если что», как шутливо любил повторять Артузов? Тогда не выполнена первая часть задания, не выполнена и вторая. И как тогда поступить с ним, Мариным? А-а, дело не в нем, плевать на него. Сколько мертвых здесь, в Харькове, по его вине; сколько мертвых там, на последнем фронте гражданской войны — и тоже по его вине. Черт возьми, ведь не бывает безвыходных положений... Томимый неясным предчувствием, он поднял глаза и посмотрел на противоположную сторону Сумской. Там стоял его недавний собеседник, усатый. Рядом с ним молча покуривали еще два человека. Марин зашагал к центру города. Трое на той стороне неторопливо двинулись следом. Так шли до площади, с нее Марин свернул в переулок, но едва он успел сделать несколько шагов, впереди послышались трели милицейских свистков и выход из переулка пре-

градил грузовой автомобиль. Из него высыпали милиционеры и, развернувшись в цепь, двинулись навстречу Марину. Прохожие вокруг бросились бежать сломя голову, они падали, снова вставали, стремясь скрыться в парадных, в подворотнях. В воздухе звенело от криков, но Марин слышал только одно слово: «облава». Он подумал, что нужно вернуться на площадь, огляпулся и понял, что опоздал: площадь уже пересекал усатый с попутчиками. «Милицейская облава — это просто совпадение,— лихорадочно соображал Марин.— А эти, они явно по мою душу, явно, и мне теперь не уйти...» Он огляделся. Взгляд выхватил среди множества каких-то вывесок одну: «Трактир Хлопунова». Марин бегом пересек мостовую и влетел в гардеробную. Бородач швейцар окинул его цепким профессиональным взглядом:

— Пообедать или от облавы?

— По-о-бе-дать,— с трудом выговорил Марин.

Ему вдруг показалось, что все происходящее с ним — кошмарный сон. Руки и ноги отяжелели, с трудом ворочался язык. Ведь не могло же быть так, что все случившееся подстроено, что все эти события — результат чьей-то злой воли, что цель всего этого — он, Марин. «Чушь,— метался он,— ерунда, воспаленное воображение. Рюн? Ну, допустим, а откуда он узнал о моем приезде? Выдал Оноприенко? Нет, нет! Значит, Рюн сам догадался, сопоставил какие-то факты, какие-то обстоятельства, понял, что в четвертый раз его открыто проверять не станут, и принял свои меры, организовал с помощью своих многочисленных приверженцев и прихлебателей наблюдение за вокзалом, обнаружил подозрительного Марина, сразу не взял, решил, пусть погуляет, выявит связи, намерения, а там — и в сачок».

— А если я от облавы? — с трудом улыбнулся Марин.

— А если «от»,— зыркнул глазами швейцар,— мне на лапу пятьсот николаевскими и золотишко, если имеется, и в лучшем виде через эту дверь в подвал и на соседнюю улицу.— Он не спускал с Марина настороженного взгляда.

«Он ведь, гад, и выйти теперь не даст»,— подумал Марин.

Решения все еще не было, он не знал, что ему делать. Молча прошел в зал. Столики торопливо разбежались под сводчатым потолком, посетителей не было. Марин взял карточку, начал изучать меню и тут же поймал себя на мысли, что не понимает ни названий блюд, ни цен — ни-чего. Скриннула дверь, в зал заглянул милиционер, подозвал кого-то, и тут же появилась приземистая фигура усатого. Он неторопливо пересек зал и остановился у столика Марина.

— Комендант особотдела Южной армии Терпигорев,— представился он, откозыряв.— Попрошу предъявить документы.

Марин встал:

— У меня нет документов.

— Офицер?

— Да.

— Что и требовалось доказать,— добродушно улыбнулся Терпигорев,— стоило ли играть в прятки, ваше благородие...

Он крикнул, вызывая караульных. Марину защелкнули на запястьях стальные наручники английского образца, посадили в крытый грузовичок, запахнули полог позади и повезли. Куда? Он ничего не видел и мог ориентироваться только тогда, когда на поворотах его резко прижимало то вправо, то влево. Автомобиль кружился по центру города, конвойные сидели молча, всем своим видом давая понять, что вступать в какие бы то ни было разговоры они не намерены. Молодые ребята, лет по двадцать каждому, комсомольцы, наверное... И сидит под дулами их винтовок член РКП(б) с 1909 года, сотрудник центрального аппарата ВЧК Сергей Марин, а у него в рукаве под подкладкой — шелковка, и получается так, так все складывается, что уже не в роли белого офицера Марин, а в шкуре врага и шкура эта наглухо зашита и вылезти из нее невозможно...

Автомобиль остановился, спрыгнули конвойные, откинули полог:

— Выходи!

Терпигорев потягивался у входа в двухэтажный особняк, разминал отекшие ноги. Вывески не было, но у ступенек прохаживались часовые, и Марин понял, что здесь помещается особый отдел, цель его путешествия.

Только пришел он к этой цели не тем путем, каким хотелось, и войти ему в этот дом сейчас придется не в том качестве, в каком поначалу предполагалось. Дежурная часть отдела — бывший вестибюль особняка — была просторной, светлой, даже решетки на окнах не портили впечатления. За деревянным барьером у многочисленных телефонов сидел чекист, белобрысый, голубоглазый, с полным добродушным лицом. Он окинул Марина внимательным взглядом и повернулся к Терпигореву:

— Спымал-таки.

— Поймал,— подчеркнуто правильно ответил Терпигорев.— Ты что же, Зотов, искажаешь великий, могучий и свободный русский язык?

— Который был тебе опорой во дни сомнения и раздумий,— подхватил Зотов,— если они у тебя, Василий Павлович, вообще когда-нибудь бывали — сомнения и раздумия. Кремень ты.

— Служим революции,— скромно сказал Василий Павлович и дружелюбно улыбнулся Марину: — Чин?

— Подполковник.

— Последнее место службы?

По легенде Крупенского, Русаков был командиром 3-го батальона 214-го пехотного полка бывшей императорской армии. Марин так и ответил на вопрос Терпигорева, а потом рассказал, что с ним произошло в поезде, и объяснил, что в Харьков попал, так как пробирается в Бессарабию, в Кишинев, к матери.

— Я не враг Советской власти,— примирительно закончил Марин.— Я обыкновенный окопный офицер, фронтовик, я устал, и давайте быстрее со всем этим покончим. Судите, если есть за что, или отпустите.

— Да ведь мы бы и отпустили,— доброжелательно сказал Терпигорев,— только где гарантия, что вы, ваше благородие, к Врангелю не уйдете?

— Ваше высокоблагородие,— уточнил Марин.— Это на тот случай, если и впредь вы намерены меня титуловать по уставу. Что касается Врангеля, то я дам вам свое честное слово.

Терпигорев и дежурный переглянулись, и Марин заметил, что своими словами он до крайности изумил обоих.

— Слово-о? — переспросил дежурный.— А чего оно стоит теперь, это слово?

— Я дворянин,— улыбнулся Марин.— Мое слово, слово дворянское — неизменно.

— Да будет вам,— лениво протянул Терпигорев.— Скольким мы вначале поверили и как за это поплатились? Дудки теперь! Советская власть отныне никому из вас не верит, поскольку все вы — белогвардейцы, дворяне и прочие — цепные кобели царизма. Ясно?

— А среди вас нет нечестных? — поинтересовался Марин.— Своим вы всем верите?

— Кончим дискуссию. Зотов, запри его пока в кладовку, а там поглядим.

Дежурный сверился с каким-то списком:

— В кладовку так в кладовку. Но там уже сидят три офицера.

— Потеснятся. Кстати, Зотов, ты доложил Рюну, что арестованные поступают ежедневно, а помещения для КПЗ у нас неприспособленные. Случится побег, кто будет в ответе?

— Сами и докладывайте.

— Ну и дурак. Случится побег, с дежурного спросят. Я тебе дело говорю, доложи. Он хоть усечет, что ты об деле болеешь. Понял? Давай ключи.

— Держите,— Зотов подал Терпигореву связку ключей и продолжал:— У меня к вам вопрос, товарищ комендант...— Зотов метнул на Марина странный взгляд.— Вы мне тут вещи Оноприенко сунули...

Марин напрягся. «Вот оно, сейчас все разъяснится...»

— Мыло, бритву, помазок, кусок рафинаду, денег сто рублей,— нудно перечислял Зотов.— Я опечатал, опись составил, а дальше что? Родным отправить?

Марину стало жарко, на лбу выступили крупные капли пота. Он сдерживал себя из последних сил. Перехватив взгляд Терпигорева, уловил недоумение и сказал, чтобы разрядить обстановку:

— Однако, жарко тут у вас, господа... Вы уж меня отправьте, а служебные ваши дела и в другое время решить можно.

— А вы нас не учите,— хмуро сказал Зотов,— мы про себя сами знаем.

— Это, во-первых,— поддержал Терпигорев,— а во-вторых, «господа» уже два года в земле гниют.

— А «товарищи»? — не удержался Марин.

— Ты же самая махровая контра,— удивленно протянул Терпигорев.— Мил человек, я тебе вот что скажу: по должности своей я вашего брата в расход вывожу лично, ты готовься, ваше благородие...

— «Высокоблагородие»,— сказал Марин.— А этого Оноприенко или как бишь его!.. Вы тоже лично «вывели»?

— Лично,— сказал Терпигорев.— Пшел вперед...

Они двинулись по бесконечному длинному коридору. Глухо звучали шаги на каменных плитах пола, и стучало в висках, и навязчиво кружилось в мозгу, словно заезженная пластинка, несколько фраз, последних, перед самым расставанием сказанных Артузовым: «На вокзале тебя встретит Оноприенко, а если что... иди на явку. Там будут ждать... Ждать». Много ли нужно Рюну времени, чтобы Марин был осужден и расстрелян? Сутки, двое, трое... Итог все равно предрешен.

Открылась и закрылась еще одна дверь, и они оказались в небольшом квадратном дворе, замощенном булыгой. Сквозь неплотно пригнанные камни кое-где пробивалась по-осеннему пожухлая трава, вовсю распевали птицы, синело низкое, но странно бездонное небо. Марин запрокинул голову, зажмурился и глубоко вздохнул. Терпигорев заметил и сказал с иронией:

— Перед смертью не надышишься, ваше высокоблагородие.

Марин не успел ответить. За массивными, обитыми железом воротами послышался бешеный топот подков и грохот колес. Ворота распахнулись, часовые придержали створки, и во двор на всем скаку влетела чумацкая колымага с решетчатыми бортами. Двух взмыленных лошадей погонял парнишка лет восемнадцати, в буденовке, которая каким-то чудом держалась на его затылке. Парень осадил лошадей, сдернул буденовку и крикнул хрипло, с надрывом:

— Товарищи!

И Марин увидел, что в окнах особняка, который замыкал двор, появились люди. Потом они появились и

во дворе, окружив колымагу плотным молчаливым кольцом. Только теперь Марин увидел, что колымага от борта до борта покрыта грязным брезентом, под которым топорщится что-то вроде дров. Возница сдернул брезент. Над собравшимися пронесся не то вздох, не то стон. Колымага была наполнена трупами — голыми, в потеках крови, со следами сабельных ударов и пулевых ранений. Нескольких женщин можно было отличить от остальных по длинным распущенным волосам.

Марин посмотрел на Терпигорева. Тот снял фуражку и нервным быстрым движением приглаживал на висках реденькие волосы. Заметил взгляд Марина, сказал:

— Торопись, офицер. Тебе теперь лучше уйти отсюда.

Когда за спиной громыхнула дверь со двора, Марин остановился и спросил:

— Кто эти люди... В колымаге?

— Ах ты, господи,— прищурился Терпигорев,— не допер, бедолага, образования не хватает? Наши, из ЧК... Были на задании. А вот ваши... Ваши, офицер, порубили их... Понял теперь?

— Зачем вы все время придуриваетесь? — спокойно спросил Марин.

— Не понял?

— У меня ощущение, что вы постоянно выгадываете время для точного ответа,— жестко сказал Марин.

— Офицер,— остановился Терпигорев,— ты знаешь, что тебя ждет?

— Иллюзий не строю.

— Ну и молодец,— одобрил Терпигорев,— я хочу сказать тебе чистую правду: надеяться тебе не на что.

С лязгом распахнулась дверь камеры. Это была обыкновенная деревянная дверь, ведущая в бывшую кладовку, теперь ее обили железными полосами, проделали примитивный «глазок» и навесили амбарный засов — получилась камера. Марин вошел. Сквозь маленькое вентиляционное окошечко под потолком струпились, словно рисованные, лучики света. У стены напротив были построены нары, на нижних играли в кости из хлебного мякиша два человека в потертой военной форме без погон, с верхних доносился храп.

— Здравствуйте, господа,— Марин снял фуражку, поискал глазами икону в красном углу, не нашел и перекрестился. Захлопнулись двери, громыхнул засов. Игроки перестали швырять мякиш и с интересом посмотрели на Марина. Более молодой, на вид ему было лет двадцать пять, спросил:

— С кем имеем честь?

Постарше, в кавалерийских чикчирах, потянулся с хрустом и сладко зевнул:

— Давно с воли?

— Только что,— Марин повернулся лицом к свету и опустился на колени.

«Им надо дать пищу для размышления, ошеломить, отвлечь от конкретных подозрений»,— подумал он.

— Господи! — завопил Марин и, скосив краешек глаза, заметил, как вздрогнули офицеры.— Приидет час, да всяк иже оубиет вы, возмнится службу приносити богу и сия сотворят, яко не познаша отца, ни мене, но аз истину вам глаголю: оуне есть вам, да аз иду. Аще бо не иду аз, оутешитель не приидет к вам: аще ли же иду, послю его к вам...

Офицеры переглянулись, храп наверху прекратился, третий обитатель камеры спрыгнул вниз. Был он тучен, лыс, с наглыми немигающими глазами и мокрым ртом. Он все время причмокивал, словно слюна поступала к нему в рот явно в излишке, а сплевывать мешала природная деликатность.

— Если мы ему поможем уйти, он пришлет нам помощь,— иронически улыбаясь, перевел толстяк и посмотрел на Марина.— Хотите дать нам избавление,— причмокнул он,— браво, благодарим. Только мы, мил сдарь, в этом доме живем по большевистскому гимну.

— Не понял...— Марин встал и тщательно отряхнул колени.

— Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой,— процитировал толстяк.— Товарищ Терпигорев — местный палач — иногда поет «своёю». А вы как предпочитаете?

— Подполковник Крупенский, Владимир Александрович,— Марин щелкнул каблуками.

— Жабов, ротмистр,— представился толстяк.— Господа, назовите свои имена.

— Момент,— прервал Марин.— Господа, я открыл

закон движения и заката России: итог многолетних раздумий. Слушайте: Россию погубят иудеи.

— Господи,— ухмыльнулся Жабов.— Вот новость! Да об этом еще Достоевский предупреждал.

— Браво, ротмистр,— обрадовался Марин.— В каком охранном отделении вы служили? В Киевском?

— Откуда, собственно...— мрачно начал Жабов. Но Марин прервал его:

— В 10-м году в Киеве особый отдел проводил семинар для чинов охранных отделений. С докладом выступал генерал Курлов. Излагая тенденции революционной пропаганды, он отметил усилившийся приток евреев в революцию и привел эти слова Достоевского. Я был на этом совещании, а вы?

— Я тоже был, но я вас не помню.

— А я — вас. Ну и что? Кто из нас провокатор?

— Господа, господа,— вмешался молодой офицер.— Время ли? Моя фамилия Якин,— поклонился он,— поручик.

— Очень приятно,— кивнул Марин.— Хочется есть. Здесь кормят?

— Вот,— третий офицер достал с нар сверток и протянул Марину.— Сало с чесноком и перцем — чертовски вкусно. Хлеба хотите?

— Конечно.— Марин с хрустом откусил кусок сала.— Откуда такая прелесть?

— Военный запас,— скромно улыбнулся офицер.— Выезжали в село на карательную акцию, я срубил одной большевичке голову, а это сало я нашел в ее хате. Позвольте рекомендоваться: прапорщик Гвоздев,— он улыбнулся, обнажив два ряда удивительно ровных и белых зубов.— Много ли женщин на воле, господин Крупенский?

— В каком смысле?

— В прямом: груди, ляжки, ножки. Ах, как хочется, как хочется здорового женского тела,— он закатил глаза и хрустнул пальцами.

Марин едва не подавился. Уже не хватало ни сил, ни выдержки. Он понял, что его психологическая атака напоролась на контратаку и, если он сейчас, сию минуту не убедит этих типов в своей полной и безусловной лояльности, они свернут ему шею. «Прекрасная компа-

ния,— подумал он, стараясь проглотить очередной кусок с видимым удовольствием.— Милые, добрые, интеллигентные люди, пока еще не убили, но ведь в любую секунду могут эту оплошность исправить. Если это начало тех встреч, которые мне обещал Крупенский, я себя от души поздравляю...»

— Ну, ладно,— сказал Якин,— хватит. Можете представить гарантии?

— По поводу чего? — невинно осведомился Марин.

— Гвоздев, давай,— распорядился Якин.

В руке Гвоздева, словно по волшебству, возник нож. Держал он его профессионально, слегка сжимая рукоятку, лезвие шло от большого пальца. «Ударит снизу вверх»,— сообразил Марин. И тут же подумал о том, что нет, не ударит. Демонстрация, психическая атака. Хотели бы убить, поступили бы иначе, заставили бы поверить себе, расслабиться и в самый вроде бы неподходящий момент — раз, и ваших нет. Нет, тут что-то не то, так не убивают.

— Уж не взыщите,— насмешливо улыбнулся Жабов,— здесь камера смертников, терять нам нечего.— Он помолчал и добавил: — Господин Крупенский...

Марин сел на нары:

— Убивайте. Я к матери хотел вернуться. С фронта — к матери. Дерьмо вы...— Он лег и вытянулся.

Гвоздев с беспокойством взглянул на своих. Якин пожал плечами:

— Конечно, мы переживаем ужасающий «текущий момент», как выражаются товарищи. ЧК убивает наших, мы — своих. Необъяснимый, черт побери, парадокс.

— Зачем нам здесь чужой подозрительный человек? — спросил Гвоздев. — На вопросы не отвечает, выкобенивается... Как хотите, господа, а я бы его ликвидпул.

— Хорошо,— сказал Жабов,— вы намекали на то, что имеете отношение к полиции?

— Я не намекал, я утверждаю,— хмуро сказал Марин.

— Тогда при чем тут фронт?

— При том, что на фронте я командовал батальоном.

— Жандармы батальонами не командуют,— развеселился Жабов.— Врете вы все.

— А я, знаете, еще и патриот, еще и русский,— сказал Марин.

— Черноваты вы для русского,— с сомнением сказал Гвоздев.

— Представьте доказательства национальности и служебной принадлежности,— мягко улыбнулся Жабов.

Марин обвел их глазами. Все трое смотрели напряженно, враждебно. «А вот сейчас я вас и куплю,— с удовольствием подумал Марин.— Вот он, момент торжества, господа офицеры. Итак, музыка, встречный марш». Он рассудил просто. Один из троих — агент Рюна. Не зря же Рюн распорядился посадить его, Марина, именно в эту камеру. Узнав о шелковке, агент немедленно донесет. Марина вызовут на допрос, выяснится, что он эмиссар из Парижа. В этом случае Рюн расстрелять его не решится, да и не нужно это ему. Эмиссар из Парижа — это успех. Такое не каждый день случается. Не-ет, не расстреляет, скорее, затеет какую-нибудь игру, начнет конструировать комбинацию. Значит, выиграно время, значит, пойдут круги информации, как... вот от камушка, упавшего в воду. Значит, будет осведомлен не только Рюн, но и другие сотрудники отдела. Если среди них окажется тот, кто должен был работать в паре с Оноприенко,— спасение...

Марин встал.

«Кажется, все правильно. А если?.. А если нет в камере никакого агента, если Оноприенко был один? Что ж, терять нечего. В этом случае шелковка просто-напросто укрепит авторитет, вернее, создаст его...»

— Господа, дайте нож.— Марин распорол подкладку левого рукава и протянул Жабову шелковку.— Господа, я верю вам и, в случае чего, надеюсь на вас,— он вернул нож Гвоздеву.

Жабов прочитал текст шелковки вслух:

— «Крупенский Владимир Александрович состоит на службе в ассоциации бывших офицеров императорской гвардии. Что подписями и печатью удостоверяется. Маклаков, Ладыженский».

Жабов обвел офицеров взглядом:

— Смысл мне не ясен, но убедительно. Тем более

все мы знаем, кто такой Маклаков, а я могу удостоверить и личность господина Ладыженского.

— Ну и чудно,— сказал Гвоздев, пряча нож.— Я рад, господа...

— А я — нет,— с вызовом заявил Якин.

Все удивленно посмотрели на него, а он продолжал:

— Шпики, жандармы, охранка... Фи, господа. Мы — русские офицеры, право слово. Нет, я верю господину Крупенскому, но, господа, офицеры и охранка... Фи, господа...

— Я вам вот что скажу, господин чистоплюй,— тихо начал Марин,— из-за таких, как вы, а вас слишком много расплодилось, у государя появились сомнения в этичности нашей службы. Дело дошло до того, что покойный император запретил содержать в армии осведомительную агентуру! Под влиянием безмозглых моралистов он оставил нас без глаз и ушей, и где? В основной опоре престола, а результат? В первый же день февральской смуты полки гвардии перешли на сторону так называемого народа.

— Почему «так называемого»? — спокойно возразил Якин.— Народ есть народ, богоносец и гегемон духа.

— А вы, мой друг, не так просты, как стараетесь казаться,— улыбнулся Марин.— Простите меня, я оговорился. Да, народ есть народ и лучшая его часть действительно гегемон духа, вы правы. А революцию мы проспали. Да и что вы хотите, господа... О настроении в войсках мы, охрана, осведомлялись с помощью лотошников, коробейников и проституток. Каково?

— Вы монархист? — спросил Жабов.

— Убежденный.

— А я за Учредительное собрание,— сказал Гвоздев.

— И я тоже,— кивнул Якин.

— А я — за диктатуру сильной личности,— сказал Жабов.— России исторически нужен не монарх-символ, а личность, человек, который загнет нашу родину в рогульку. Россию, знаете ли, чем больше мочить кровью и гнуть в три погибели, тем занятнее выходит. Но — кончили болтовню, господа. Я полагаю, господин полковник ждет от нас какой-то реальной помощи.

«Полковник,— отметил про себя Марин.— Еще одна мелкая проверка: знаю ли я офицерский этикет»[1].

— Меня интересует Лохвицкая... Зинаида Павловна,— сказал Марин.— По моим сведениям, она содержится где-то здесь,— Марин грустно улыбнулся.— А за то, что назвали полковником и тем самым сделали попытку восстановить наши добрые войсковые традиции, от души благодарю.

Громыхнул засов, на пороге появился Терпигорев, обвел офицеров веселым взглядом, вздохнул:

— Прощайтесь, ваше благородие, пробил час роковой.

Марин взял с нар пальто, шагнул к выходу, но Терпигорев остановил его:

— Вас пока не касается, остальные — за мной, на исполнение.

— На какое еще «исполнение»? — побелел Гвоздев.

— Полно вам,— одернул его Жабов,— вы же мужчина.

— Прощайте, господа,— улыбнулся Якин.

Офицеры обнялись. Двери захлопнулись. Некоторое время Марин еще слышал удалявшиеся шаги, потом смолкли и они.

За долгие годы работы в подполье Марин хорошо усвоил одну простую истину: то, что в обыденной жизни легко планируется и легко обретает плоть и кровь, в условиях конспиративных вырастает подчас в огромную проблему, требует двойных, тройных тылов, тщательно обдуманных и подготовленных запасных вариантов на тот весьма вероятный случай, если основной вариант провалится. Вот и теперь его затея с предъявлением шелковки лопнула, как мыльный пузырь, едва начавшись. Судя по всему, ни один из трех офицеров не был осведомителем. Есть жесткие правила, которыми руководствуются в таких случаях: агента никогда не уведут из камеры первым, всегда сначала того, с кем ведется работа, в противном случае догадливый «объект» начнет ломать голову, строить предположения и может случайно открыть истину. Нет, среди этих тро-

[1] По традициям русской императорской армии приставки к офицерским чинам «под», «штабс» и т. п. в беседе опускались.

их агента не было, но как теперь быть, что делать?

На этот раз дверь камеры открылась бесшумно, словно петли были заранее смазаны. Вошел дежурный, который принимал Марина.

— Моя фамилия Зотов, не забыли? — спросил он, тщательно прикрыв за собой дверь.

— Не забыл. Чему обязан?

— Товарищ Марин, я пришел, чтобы вам все объяснить и вместе подумать, как быть дальше. Дело обстоит так...

— Ничего не понял,— перебил Марин.— Извольте выражаться точнее,— он с трудом сдерживал вдруг вспыхнувшую радость. Опытный психолог, он почувствовал, что никакой провокации в приходе Зотова нет и говорит он вполне искренне.

— Я постараюсь,— сказал Зотов,— только времени у меня в обрез. Так вот: Оноприенко собрал по поводу грязных делишек Рюна хороший материал, хранил его в своем личном сейфе, в папке. Думаю, что Рюн заподозрил неладное и сумел сейф вскрыть. Дело, в общем, нехитрое. У нас ведь не банковские сейфы. Честно сказать, это догадки, не более. Исхожу из того, что папка лежала на месте вплоть до ареста Оноприенко, а потом исчезла.

— Какие обвинения предъявил ему Рюн?

— Шпионаж в пользу Врангеля.

— Это же несерьезно.

— Напрасно вы так думаете. Комиссия изъяла в сейфе Оноприенко расписки некоего Гамзаева на 2 тысячи рублей для врангелевского резидента и очередное донесение. Там была структура отдела, данные наших сотрудников, а на донесении личные пометки Оноприенко.

— Он признался?

— Все отрицал, требовал экспертизы, да где же взять экспертов-то?

— И комиссия поверила без экспертизы?

— А что ей было делать? Факты — вещь упрямая, а время горячее. Было бы поспокойнее, может, и разобрались бы. Гамзаев этот давно был на подозрении, правда, как взяточник, не как шпион. О вас Оноприенко сообщил в последний момент, его уже уводили из камеры. Что будем делать, товарищ Марин?

— На кого вы можете опереться здесь, в отделе? Есть надежные ребята?

— К сожалению, мало, и все рядовые... Люди запуганы, сдали позиции. На партийных собраниях у нас в основном приветствуют руководство и принимают трескучие постановления, а когда надо о деле поговорить, коммунисты нелегально собираются. Рюн несколько раз разгонял нас, предупредил: «Еще одно подпольное собрание, и будут приняты более жесткие меры».

— К Фрунзе обращались?

— Комфронта готовит наступление, ему не до нас. Да вы знаете, бумажная отчетность у Рюна — на «ять». Сунется очередная комиссия и уйдет не солоно хлебавши. Товарищ Марин, вы просто обязаны приступить к проверке Рюна.

— Ничего себе,— протянул Марин.— А как?

— Я поговорю с ребятами, придумаем что-нибудь.

— Фамилия Лохвицкая вам ни о чем не говорит?

— Ну как же, любовница Рюна.

— То есть?

— Он к ней в камеру три раза на дню шастает. Как идет, удаляет всех часовых из коридоров. Правда, у нее с ним теперь нелады.

— Что именно?

— Да знаете, как другой раз бывает? Повздорили, она ему по морде дала. Смачно! Я в глазок лично видел. Обычно он глазок бумажкой залепляет, а тут, видать, заволновался, забыл. Я и подсмотрел. Красивая баба, даже жаль ее по-человечески.

— В чем ее обвиняют?

— Спекулянтка. Да дело не в этом. Коль она Рюна шандарахнула, он ее шлепнет. Месяца два назад он познакомился в ресторане с одной врачихой зубной, ну, слово за слово — пошла любовь, потом смотрим, врачиха та — в камере и обвиняется в связях с зелеными. А тут как-то прихожу на дежурство — готово дело... Приказала долго жить.

— Умерла?

— К стенке,— поднял глаза Зотов.— Шлепнул ее Терпигорев. Кстати, сложный этот гад, товарищ Марин. Вы его опасайтесь.

— А Рюн? Не сложный?

— А вы сейчас с ним познакомитесь.— Зотов вытащил из кармана часы.—Я ведь за вами пришел. Будьте осторожны. Не понравитесь — он всадит вам пулю прямо на месте, имейте в виду.

Рюн сидел за огромным письменным столом в глубине кабинета, спиной к окну. Это был простой и точно рассчитанный прием: входящий видел только силуэт, зато сам был освещен с ног до головы. Марин, когда вошел, увидел все поэтапно: сначала кабинет, очень большой, с высоким лепным потолком и старинной люстрой в стиле ампир, под ногами пушистый и не очень затертый ковер, настоящий «хоросан», правда, поздний, как легко определил Марин. Видно было, что товарищ начальник не пренебрегает уютом. Справа у стены было нечто вроде уголка отдыха: три дивана «Бедермейер», на торцах двух боковых высокие колонки с китайскими вазами из зеленоватого фарфора «селадон», над средним, замыкающим диваном — портрет вельможи в костюме XVIII века; кактусы в горшках, пальма. Потом Марин обратил внимание на владельца кабинета: Рюн был миниатюрный мужчина с усиками и тщательно расчесанным пробором. Не будь на нем сложной системы ремней, его легко можно было бы принять за официанта какого-нибудь солидного ресторана. Он, не мигая, смотрел на Марина и выстукивал по краю стола какой-то марш.

— Здравствуйте,— наклонил голову Марин.— Что вам угодно?

— Садитесь,— сдержанно улыбнулся Рюн.— Приятно иметь дело с интеллигентным человеком.

— Я — офицер,— заметил Марин.

— А для меня интеллигентность — не социальная принадлежность,— сказал Рюн,— а состояние души. Я хочу построить нашу беседу на абсолютно реальной основе.— Он взял со стола колокольчик и позвонил.

Вошел Терпигорев, под мышкой он держал сверток.

— Докладывайте,— приказал Рюн.

Терпигорев неторопливо развернул сверток и тщательно сложил упаковочную бумагу вчетверо, потом сделал шаг в сторону, и Марин увидел три офицерские гимнастерки.

— Это Жабов,— комендант стряхнул гимнастерку.— Расстрелян. Это Гвоздев — тоже расстрелян. Это Якин — туда же...

— Желаете убедиться? — Рюн повернулся к Марину.

— В чем?

— Да вот... в каждой гимнастерке — дырка, кровь.

— Я верю вам на слово,— улыбнулся Марин.

— Свободны,— кивнул Рюн Терпигореву. И тот, четко повернувшись налево кругом, вышел из кабинета. Гимнастерки расстрелянных офицеров остались на столе.

— Как видите, я не шучу,— сказал Рюн и, помедля, добавил: — Владимир Александрович, мы с вами по разную сторону баррикад, но я не напрасно упомянул слово «интеллигент». По какую бы сторону друг от друга ни находились интеллигентные люди, они всегда договорятся. Ведь они говорят на языке Гёте и Гегеля.

— А народ, которым вы руководите, он на каком языке говорит? — спросил Марин.

— На матерном в основном,— улыбнулся Рюн.— Вы шли на связь к Врангелю?

«Он знает о шелковке,— сообразил Марин.— Значит, я ошибся, значит, агент в камере был. Кто? Жабов? Якин? Гвоздев? Сработано тонко. Не знаю, кто из них...»

— Это вопрос или утверждение? — улыбнулся Марин.

— У вас в рукаве и ответ на мой вопрос и подтверждение моего утверждения. Смотрите сюда,— Рюн вышел из-за стола, подошел к дивану и отодвинул портрет. За ним оказалась дверка сейфа, Рюн открыл сейф и, перебрав несколько папок, вернулся к столу.— Вот я беру ручку с пером, макаю перо в чернила и пишу на обложке: «Расстрелять». И подписываю — Рюн. Вопросы есть?

— Что это за папка?

— Ваше «дело».

— А почему вы не поставили сегодняшнее число?

— Блестяще,— обрадовался Рюн.— Мы договоримся, я это сразу понял. Если вы согласитесь на мое предложение, числа вообще не будет, а если нет... Догадываетесь?

— Вы его поставите в тот день, когда меня расстреляют,— сказал Марин.

— Умница,— одобрил Рюн.— Вы должны меня понять. Слушайте,— он вышел из-за стола и снова подошел к дивану. Сел, жестом пригласил Марина сесть напротив, потом продолжал: — Революция номер три, Октябрьская, как ее называют, была совершенно бескровной: пять-шесть убитых с обеих сторон, это же не разговор, но бескровная революция переросла в величайшее сражение: тысячи, сотни тысяч убитых, миллионы изгнанников, гражданская война... В ней нет победителей, нет побежденных. Кто-то должен исчезнуть. Мы считаем — белые, они имеют в виду нас. А вы как думаете?

Марин пожал плечами:

— Вы полагаете, лучше приспособиться к новой России, нежели сгнить за старую?

— А вы как полагаете?

— Хотите сделать меня предателем?

— Демагогия. Да или нет? Минута на размышление.

— Согласие, вырванное таким способом, вряд ли надежно, вам не кажется?

— Нет, не кажется. Вы уже дали ваше согласие, остальное — формальности.

— Я ничего вам не давал, уж простите...

— Разве? — удивился Рюн.— А мне казалось, что, когда интеллигент начинает обсуждать альтернативу подобного рода, он уже все решил...— Рюн сжал губы: — А ведь альтернативы — нет.

Марин долго молчал. Этот далеко не глупый Рюн должен был увериться до конца; он сумел задавить офицера, загнать его в угол...

— Что я должен делать? — словно борясь с собой и не все еще решив окончательно, спросил Марин.

— Мы задержали одну дамочку,— начал Рюн, вставая и прохаживаясь по кабинету,— доказательства ее преступной деятельности налицо, она матерая спекулянтка, и мы можем ее расстрелять в любую секунду, но есть детали, не будем сейчас о них говорить, чтобы они не повлияли на вашу объективность, эти детали приводят меня к мысли, что дело этой дамочки куда как

глубже, чем может показаться на первый взгляд. Вот вы и займитесь этим, мой новый и верный друг.

— Интересно, каким же это образом? — не удержался Марин от усмешки.

Рюн почувствовал иронию, но не рассердился:

— Отдел занимает случайное здание,— сказал он серьезно.— Приспособленных камер нет, все вверх дном. Я это говорю к тому, что в образцовой тюрьме я вряд ли сумел бы выполнить задуманное, а здесь сумею — если, конечно, вы мне поможете.

— Подсадите меня к мадам,— догадался Марин.

— Я же говорил, что вы умница,— серьезно сказал Рюн.— Именно так. Размотайте ее любой ценой. Если удастся доказать и доказать серьезно, что она нечто из ряда вон, скажем так, будет хорошо и вам и мне.

— Вы получите орден Красного Знамени,— Марин смотрел Рюну прямо в глаза.

— А вы — жизнь и свободу.— Рюн не отвел взгляда.

— Гарантии?

— Мое честное слово.

Марин молча улыбнулся.

— У вас есть другой выход? — мягко спросил Рюн.— Ее зовут Зинаида Павловна Лохвицкая.

Зотов прикрыл дверь камеры и внимательно посмотрел на Марина.

— Трудно пришлось?

— Узнайте, что произошло с офицерами из моей камеры,— сказал Марин.

— Все расстреляны.

— Нет. Один из них агент Рюна. Уточните кто. Агент жив.

— Сделаю.

— У вас никогда не возникало ощущение, что в отделе работает агент белогвардейской разведки? — спросил Марин.

— Есть факты?

— Я сказал «ощущение»,— жестко повторил Марин.

— Не знаю, не думал об этом.

— Подумайте.
— Может, сам Рюп,— предположил Зотов.
— Не-ет, Рюп не работает на Врангеля. Рюп — просто мерзавец, примазавшийся. Мы обязаны добыть доказательства его преступной деятельности, товарищ Зотов.
— Зачем?
— Эти доказательства мы предъявим коллегии ВЧК или трибуналу. Уж как получится. Рюп — опаснейший враг. Чем дольше он останется у руководства, тем хуже. Его надо бы расстрелять, и немедленно! Нужно вскрыть и тщательно проверить сейф Рюпа. Сможете вывести меня ночью из камеры?
— Не... знаю. Я просто не уверен, что нужно рисковать головой.
— Прекрасно. Предложите другой выход.
— Хм... Скомандуйте, и я его застрелю. Вот и все.
— Мы не бандиты.
— А он? Между прочим, ЧК — карающий меч диктатуры пролетариата, и нечего разводить антимонии, слюни распускать. Убить гада — и точка.
— Мы все решили, товарищ Зотов,— спокойно сказал Марин.— Я проверю сейф. Сейчас это главное.
— Хорошо, только с небольшой поправкой: сейф буду проверять я. Если застукают — пуля на месте, а ваша жизнь дороже. Идемте, Лохвицкая ждет.
— Где она?
— Через две камеры отсюда.

— Заходите.— Зотов распахнул дверь одной из камер, в конце коридора.— Дамочки сейчас нет, располагайтесь.
— Где она?
— На допросе, у Рюпа,— многозначительно посмотрел Зотов.— Я вас все спросить хотел: вы из каких будете, товарищ Марин?
— Я художник, в прошлом дворянин.
— Ну да?
— Да. А что?
— А как же вы против... своих?
— Это сложный вопрос, Зотов. Ты рабочий?

— Деповский. Я воюю за свое.

— Как ты думаешь, для чего революция?

— Для равенства и братства, чтобы всем было хорошо.

— Верно. Ты это понял по рождению, а я — по убеждению. Понимаешь? Однажды любой человек остается один на один с собственной совестью, и тогда он делит мир не на своих и... чужих, а на тех, кто за справедливость, и тех, кто против нее...

— Я подумаю.— Зотов ушел.

Марин лег на нары и закрыл глаза. Третий год содрогается Россия в конвульсиях революционного катаклизма, идет не переставая гражданская война, гибнут люди, страна отброшена назад на десятки лет. Что по сравнению с этим кровавая Франция девяносто третьего года, уставленная гильотинами? Год-другой повоюем, невесты будут выть до старости — не останется женихов. Он задремал, усталость и нервное переутомление брали свое, и как ни старался он дождаться возвращения хозяйки камеры, не сумел. Внезапный и ошеломляющий, беспощадно навалился сон. Длинной-длинной лестницей поднимался он на вершину Монмартра, к ослепительной белой базилике Сакрекёр...

— Не помешала? — услышал он низкий, приятного тембра голос и открыл глаза.

У нар стояла женщина, невысокого роста, большеглазая, с гладко причесанными волосами, собранными на затылке в тугой узел. Красива она была — не яркой и не броской красотой, но той, истинно русской, печальной какой-то, от которой сразу перехватывает дыхание. А может быть, это только показалось ему? Или просто подумалось, потому что облик ее так щемяще странно совпадал с тем давним, выстраданным, бередящим душу, но нереальным, увы, совсем нереальным... А теперь она вдруг возникла из небытия, из сна, она стояла живая, с едва заметным румянцем на щеках и бровями вразлет и мягкой полуулыбкой, вдруг выпорхнувшей откуда-то из глубины темно-синих глаз. Марин хотел что-то сказать, но не нашелся и только торопливо и неловко поднялся с нар, застегивая воротничок рубашки.

— Простите, сударыня. Позвольте рекомендоваться.— Он назвал себя и осторожно дотронулся губами

до ее руки. Вдруг возник неуловимый аромат, наверное, это был давний запах каких-то стойких духов, а ему показалось на мгновение, что нет ни камеры, ни решетки в маленьком окошке под потолком. Он с трудом приходил в себя, с трудом осмысливал происходящее и в ужасе думал о том, что ему не годится поддаваться обстоятельствам.

— Узнав, что меня помещают к даме, я протестовал,— сказал он,— мне разъяснили, что Советской власти всего два года, новых, комфортабельных тюрем она еще не успела выстроить, а в связи с войной приходится использовать, что есть под рукой.

— Увы,— она улыбнулась.— Меня зовут Зинаида Павловна. Я полагаю, мы должны с пониманием отнестись к проблемам большевиков. Интересно, у нас тоже будут трудности в аналогичных случаях?

Марин рассмеялся.

— Россия одна, и трудности похожи. Какими судьбами сюда?

— Хотела наладить в Харькове цветочную торговлю, у меня в Курске магазин. Революция, война... Решила перебраться в более торговые края, а ЧК пришила мне спекуляцию. Ну да мы, курские мещане, народ крепкий, особливо бабы,— глаза ее смеялись. Она словно подзадоривала Марина: ну-ка, давай в атаку, вперед, ты же видишь и слышишь, я мелю чепуху и жду достойного ответа.

— Знаете,— сказал Марин с иронией,— у... курских мещан фамилии серые, унылые, как булыжные мостовые: Винниковы, Дежниковы, а Лохвицкая... От этой фамилии веет ароматом иных миров. Я ведь бывал в Курске...

— Это забавно...— сказала она без улыбки.— Но это, наверное, не все? Продолжайте, пожалуйста...

— Вы сказали «у нас тоже будут трудности». У кого «у нас»?

— Ну, это понятно...— протянула она.— Мы сидим в узилище большевиков, стало быть, «у нас» — у белых. Я хотя и не дворянка, но белой идее очень сочувствую.

— Не дворянка...— он мягко улыбнулся.— И не мещанка. Ваши вульгаризмы «пришила», «особливо», «баба» никого не введут в заблуждение.

Она тоже улыбнулась:

— Вы забыли: я еще употребила такие термины, как «проблема», «аналогия». Вспомнили?

— Я думаю, что тот, кто подготовил вам легенду «курская мещанка», не отличался профессиональной фантазией и подготовкой,— вздохнул Марин.

— А вы, значит, подполковник и служили в пехоте?

— Я уже докладывал вам.

— А слово «легенда», это что же — из боевого устава пехоты? То-то, сударь... И впредь не задирайте носа. А вообще-то знаете что? — она смотрела на него очень дружелюбно.— Я думаю, что мы оба в чем-то ошиблись, в чем-то проговорились, в чем-то были предельно откровенны, не так ли? В итоге мы на исходных позициях, если я правильно понимаю?

— Ваш ход, сударыня,— он поклонился.

Она вдруг посуровела, глаза потухли, лоб прорезала глубокая морщина. Она сразу постарела лет на десять.

— Невинный разговор, милая игра словами... Здесь, конечно, не камера, а салон и здесь никого не убивают. И нас ждет экипаж и пара серых в яблоках коней...

— Давайте сядем и уедем,— серьезно сказал Марин.

— У вас есть часы?

— Отобрали при аресте,— он подтянулся на прутьях решетки и заглянул в окно.— Утро, я думаю, а что? — Он спрыгнул вниз.

Она опустилась на колени:

— Сейчас казнят наших товарищей... Молитесь вместе со мной. Упокой, Христе боже, души раб твоих,— негромко начала она читать заупокойную молитву.

— Идеже несть болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная...— подхватил Марин. «Казнят...— думал он.— Но ведь Рюн уже показал мне гимнастерки расстрелянных? Значит, он разыграл спектакль? Вывод однозначен: ему крайне нужно, чтобы я установил контакт с этой женщиной, и здесь наши желания совпадают. Это нужно и мне».

Они рано начали читать. Грузовик с приговоренными еще только миновал пролом в ограде старинного кладбища на окраине города и въехал в неглубокий ов-

раг, по склонам которого торопливо взбирались покосившиеся кресты. Спрыгнули конвойные и пятеро приговоренных офицеров, среди них Жабов и Гвоздев. Якина здесь не было. У кирпичной стены чернела куча свежевырытой земли и глубокая яма. Офицеры выстроились на краю. Жабов сказал, обращаясь к конвойным:

— Потом хоть притопчите, а то собаки растащат.

— Тебе-то не все равно? — хмуро посмотрел один из конвойных.

— Не все равно,— вмешался кто-то из офицеров.— Наши придут, памятник поставят.

— Не поставят,— улыбнулся красноармеец.— Не найдут.

Гвоздев запрокинул голову и смотрел в небо. Там, высоко-высоко, почти под облаками, купался в солнечных лучах не то жаворонок, не то еще какая-то маленькая пичуга.

— Вот и умираем,— буднично сказал Жабов.— А, господа?

Конвойные, спеша, доставали из кузова грузовика лопаты.

— Торопись,— покрикивал старший,— светает, успеть надо...

— Внимание! — старший развернул бумагу.— Зачитываю приговор.

— Не трудитесь,— махнул рукой Жабов.— Все ясно. Готовсь — и пли...

— Есть форма, ее надо соблюсти,— возразил старший.

— Ладно,— примирительно сказал Жабов. — Я тебе, мил человек, обещаю: если когда-нибудь поменяемся местами, формальностями мучить не стану. Пулю в лоб — и баста!

— Гото-овсь!

— Ну вы-то хоть коммунистов в Горелой пади побили,— нервно сказал Гвоздев,— а я? Меня-то за что? Эй, ты, прочти, за что прапорщика Гвоздева?

— Сейчас,— старший снова развернул приговор, пробежал глазами.— Сказано: «За зверство».

— Вранье! — заорал Гвоздев.— Везите меня назад. Я протестую!

— Перестаньте, прапорщик,— брезгливо поморщил-

ся Жабов.— Вы — офицер, вы подняли против них оружие, умрите достойно, черт вас возьми!

Караульные выстроились на другой стороне рва в длинную и редкую цепочку.

— Вы помните свой выпускной бал, ротмистр? — нервно зачастил Гвоздев.— У нас он состоялся в декабре 16-го, перед самой революцией. Я ведь Константиновское окончил, ускоренный военный выпуск. Сколько было народу, мы пригласили гимназисток из соседней женской гимназии, они явились в бальных...

Нестройно ударил залп, офицеров резко швырнула в ров невероятная сила пулевого удара. Вот только что стояли люди, а вот словно их никогда и не было... Начальник конвоя подошел к краю, посмотрел. Могилу забросали землей и заровняли. Сверху положили заранее приготовленный дерн.

В общем, все странно совпало: сначала Зинаида Павловна и Марин прочитали заупокойную молитву, а потом умерли те, за кого они молились.

Она внимательно изучила его шелковку и вернула. Спросила задумчиво:

— Как там Париж? Набережные? Авеню Елисейских полей?

— Я люблю квартал Ля-Маре,— сказал Марин.— Время словно обтекает его. Королевская площадь... Карнавале́, дворцы, отели и руины — город мертвых.

— Там спокойно,— согласилась она.— Только не мертво. Нет! Знаете, прошлое не умирает. В конце концов, мы, нынешние, ищем ответ на те же вопросы, что и они искали тысячу лет назад, и решаем те же загадки... Что сближает людей? Только дух. Время безвластно над ним. Владимир Александрович, расскажите о себе...

— Вас интересует биография? Извольте. Я учился в Академии художеств, в Петербурге. Помните, там два сфинкса и ступеньки, плавно сбегающие к воде... А на той стороне сенат, Исакий, дом графини Лаваль... Простите, я, наверное, не о том... Вас ведь интересуют цифры, даты, названия — то, что легко можно сопоставить, проверить.— Он помрачнел.— Все ушло, все умчалось

в невозвратную даль: тройки с бубенцами, соколовский хор, выставки союза русских художников... Ничего больше не будет. Никогда...

— Откуда вы знаете, что я — Лохвицкая? — вдруг спросила она.— Я вам свою фамилию не называла.

Он опустил глаза, чтобы скрыть волнение. Промах, какой нелепый, глупый промах... А она-то... Ничего не сказала, вроде бы — пропустила мимо ушей. Четко и очень профессионально отвлекла, и вот — удар. Как это говорят: «Лучший вид защиты — нападение»?

— Я назвал вашу фамилию в присутствии трех лиц: Жабова, Якина, Гвоздева. Кто из них вас уведомил? И как?

Она покачала головой:

— Вы интересовались мною. Зачем? И кто назвал мою фамилию вам, Владимир Александрович? Поймите: я могу позволить себе роскошь открытой игры. А вы... Если мы не договоримся, вы не доживете до утра.

В первом часу ночи Зотов толкнул похрапывающего на стуле помощника и сказал:

— Пойду проверю камеры арестованных и служебные помещения. Будь начеку.

— Будь спокоен,— зевнул помощник.— Рюн нагрянет, что сказать?

— Так и скажи: «Ушел с обходом». Отлучаться не смей.

До дверей кабинета Рюна Зотов добрался без приключений. Был он нервен, напряжен, оглядывался на каждый шорох и замирал у стены при каждом скрипе. Он не первый день служил в ЧК, но ведь не каждый день приходится дежурному особого отдела тайком вламываться в кабинет своего начальника. Зотов отлично понимал: если поймают, вызовут Рюна — и через 10 минут он, Зотов, станет трупом.

Двери кабинета Зотов открыл заранее подготовленным дубликатом ключей, вошел, тщательно задернул шторы и только тогда зажег свечу. Накапав стеарина на край колонки с вазой, укрепил свечу и достал из-за пазухи еще один набор ключей на стальном кольце, по-

том снял со стены портрет вельможи. Он стоял перед дверкой сейфа, испуганный, взмокший, неровное пламя свечи колебалось и мерцало, по стенам ползли и прыгали фантастические тени, и каждый шорох вызывал дрожь и острое желание выдернуть из кобуры кольт. Он вставил один из ключей в замочную скважину и попытался повернуть. Ничего не получилось. Он попробовал еще один ключ, и снова безрезультатно — дело не продвинулось ни на шаг. Лицо его покрылось мелкими бусинками пота, взмокла спина. Внезапно зазвонил телефон, который стоял на письменном столе Рюна. У Зотова давно уже выработался почти что безусловный рефлекс: трубку звонящего телефона следует снять немедленно, снять и ответить. И подчиняясь этому рефлексу, ничего не соображая в первые две-три секунды, Зотов рванулся к письменному столу. Это был совершенно непривычный для него маршрут. От сейфа, замаскированного портретом, в узкое пространство между двумя диванами, мимо колонок с вазами... Он мчался сломя голову, и в мозгу пульсировала, билась только одна мысль: быстрее снять трубку, успеть. Он даже не заметил поначалу, что задел колонку, не услышал, как громыхнула об пол огромная фарфоровая ваза. Он остановился, протянул руку к трубке. Телефон продолжал яростно звонить. И вдруг Зотов все вспомнил, все понял, все сразу встало на свои места: трубку нельзя брать. Зотов вытер пот со лба и сел в кресло. Он смотрел на отчаянно верещащий телефон с мольбой и испугом, потом подошел к дверям, прислушался: все было тихо. И только теперь, оглянувшись, Зотов увидел, что натворил: ваза упала вместе с колонкой и разлетелась на куски. Он подошел ближе и внутри словно оборвалось что-то. Он понял, что случилось непоправимое: доказательств преступной деятельности Рюна он не добыл никаких, а себя угробил безвозвратно. В неверном пламени свечки, в полусумраке он с трудом различил на ковре множество мелких осколков. Нет, тут уж ничего не поправишь, ничего не скроешь. Он присел на корточки, взял самый большой осколок в руки, потом перевел взгляд на остальную россыпь и... ему показалось, что он спит. То, что он увидел на полу среди груды разбитого фарфора, было настолько невероятным, несбыточным, нереальным, что он даже зажмурился на



мгновение и со всех сил ударил себя кулаком по плечу. Боль привела его в чувство. Он понял, что перед ним не мираж: среди осколков лежали небольшие пакеты и газетные свертки-колбаски. Один прорвался, из него высыпались золотые царские десятки. Зотов лихорадочно, уже не заботясь о том, чтобы сохранить вещественные доказательства, порвал остальные: там тоже лежали золотые монеты... Он вскрыл пакеты, тщательно перевязанные шелковыми ленточками разных цветов. В каждом были золотые украшения с драгоценными камнями. Он никогда в жизни не видел таких. У его матери, у ее знакомых были сережки, колечки и бусы, но все это в лучшем случае из серебра, а здесь комната словно наполнилась сиянием. По потолку и стенам разбежались ослепительные искры: камни вспыхивали нестерпимым для глаз огнем. Казалось, будто в каждом из них спрятан маленький, но очень мощный прожектор. Это были перстни, кольца, серьги, броши, кулоны и одно ожерелье, на нем высверкивали крупные сине-фиолетовые камни с искусно ограненной поверхностью. Зотов перебирал драгоценности дрожащими пальцами, по спине тек холодный пот. Он сорвал с себя рубаху, завязал в узел ворот и рукава. В образовавшийся мешок ссыпал все, что нашел, и пулей вылетел из кабинета, не забыв тщательно запереть за собой двери. Он мчался по коридорам, не соблюдая уже никакой осторожности. Попадись он сейчас на глаза кому-нибудь из сотрудников, и дело кончилось бы весьма трагически. Внешний вид Зотова, выражение лица ни у кого не оставило бы сомнения, что перед ним преступник с доказательствами преступления в руках. Кто бы стал разбираться в горячке, что это доказательства чужого преступления? Зотов подскочил к дверям с черной табличкой «Финчасть», руки тряслись, и он ничего не мог с этим поделать. Связка ключей ужасающе звенела, и наконец, отчаявшись отыскать нужный ключ, Зотов с разбегу долбанул дверь плечом и вышиб ее: семь бед — один ответ. Сейфы финчасти были попроще рюновского: простые несгораемые шкафы. Зотов справился с ними за несколько минут и вывалил на письменный стол начальника фино добрый десяток папок с документами. Терять ему было уже нечего, завязки на папках он просто рвал. В папках лежали ведомости на оприходован-

ные ценности, изъятые во время обысков, конфискации, просто сданные гражданами добровольно, доставленные как бесхозные. Зотов лихорадочно просматривал документы, ему необходимо было убедиться в том, что тайник Рюна, который он только что обнаружил и изъял, возник незаконным путем. Перед ним лежали сотни, если не тысячи бумаг. И он отрезвел. Понял: в оставшиеся два часа он ничего не найдет. Здесь спасовал бы и опытный канцелярист. А разве он мог считать себя даже начинающим?

Лохвицкая стояла под окном. Ее стройная фигура в черном платье отчетливо выделялась на фоне белой стены, словно старинная картинка — силуэт работы Федора Толстого.

— Я хочу умереть молодой,— негромко декламировала Лохвицкая.— Золотой закатиться звездой, облететь неувядшим цветком, я хочу умереть молодой. Пусть не меркнет огонь до конца и останется память от той, что для жизни будила сердца...— Она замолчала и медленно приблизилась к Марину.— Вам нравится?

— Мирра Лохвицкая...— задумчиво сказал Марин.— У вас с ней одинаковые фамилии...

— Это просто совпадение...

— Я был на ее могиле в Лавре,— тихо сказал Марин.— Простой гранитный памятник на краю пруда. Лето было пасмурное, я долго стоял, уходить почему-то не хотелось. Мне нравятся немногие ее стихи. Это вот, что вы читали... Оно ведь написано в расцвете сил и таланта, а она словно предчувствует и свой хмурый день, и мокрую осыпь венков у могилы. Знаете, стихи эти про нас, уходящих в никуда...

— Да,— кивнула она.— Мы изломанные, усталые, изнеженные. Ни себе самим, ни жизни... Маркизы Сомова, прозрачная дымка над прудами и парками Борисова-Мусатова — это все тоска по небытию, желание исчезнуть, раствориться. Мы лишние. В грядущей России будут только кузнецы... С молодым и задорным духом. И счастье народа, и вольный труд... «Куем мы счастия ключи»...

— Знаете пролетарского поэта Шкулёва?

— Я многое знаю. И не только Бальмонта и Мереж-

ковского... Владимир Александрович, какое задание дал вам Рюн?

Он уже начал привыкать к ее парадоксальной манере задавать вопрос вне всякой связи с темой и развитием разговора. Как профессионал, он даже оценил эту манеру, вернее, точно рассчитанный психологический прием. Он понял, что отвечать в таких случаях нужно не раздумывая, искренне, как бы спонтанно, и говорить по возможности только чистую правду.

— Он приказал мне выяснить все о вас, всю подноготную, а главное — ваше задание,— спокойно сказал Марин.

— Значит, он уверен, что я — не я,— она усмехнулась.

— Догадывается,— улыбнулся Марин.

— Вы согласились ему помочь?

Марин пожал плечами:

— Он написал на обложке моего дела «Расстрелять» и подписался, только числа не поставил.

— Почему?

— Поставит в день моей смерти.

— Я поняла,— сказала она задумчиво.— И как же вы намерены отчитаться перед вашим шефом?

— Сказать по чести, еще не знаю. Может быть, сочиним что-нибудь? Трудно проверяемое, но достоверное.

— Владимир Александрович, вы отлично понимаете: Рюн в капкане. Не нужно быть провидцем и психологом, чтобы предсказать ему в недалеком будущем пулю по приговору ревтрибунала. Как он вел себя со мной...—она передернула плечами.

— Что ж, среди красных тоже достаточно дерьма... Пардон.

— Что значит «тоже»? — вскинула она голову.

— Только то, что в нашей контрразведке подобные дела — норма,— вздохнул Марин.

— А у красных исключение? — спросила она с вызовом.

— Конечно. Мы ведь с вами не в отделе пропаганды Освага, врать незачем... Если Рюн поймет, что я далек от цели, он меня отсюда уберет. Вам не кажется, что одной вам будет значительно труднее?

Она посмотрела на него с плохо скрытым превосход-

ством, пожалуй, даже с какой-то жалостливой прощей, и он вдруг понял, что не только не проник в замыслы этой женщины, но даже близко к ним не подошел и, более того, в чем-то сдал свои собственные позиции. В развернувшейся между ними игре пока вела она, и он отчетливо это понимал.

— Владимир Александрович,— она недобро прищурилась,— я снова повторяю вам: если мы с вами не найдем общего языка, вы не доживете до утра.

За стеной камеры в коридоре послышались торопливые шаги, громыхнул засов.

— Крупенский, на допрос,— сдавленным голосом произнес Зотов.

Марин начал неторопливо застегивать пиджак и надевать пальто. Зотов, нервничая, снял фуражку и ожесточенно всей пятерней почесал голову. Лохвицкая презрительно посмотрела на него и пожала плечами. Марин заложил руки назад и вышел из камеры.

— Не разумно выдергивать меня так вот, среди ночи. Зачем давать ей пищу для раздумий? — резко заметил Марин.

— У меня нет другого выхода,— Зотов распахнул двери во двор.— Проходите, поговорим здесь.

Звезды меркли и гасли, начинался рассвет, тянуло легким ветерком. Марин прижался спиной к стене и вдруг ощутил, как она холодна, отодвинулся, сказал мрачно:

— Во время расстрела лучше не прислоняться.

— Что? — встрепенулся Зотов.— Почему?

— Неприятно,— объяснил Марин.— Ладно, не сверкай глазами. Что стряслось?

— Рюн— мародер,— тихо сказал Зотов и раскрыл ладонь. На ней лежало кольцо с бриллиантом и брошь с крупным изумрудом.

— Фьюить,— присвистнул Марин.— Ну-ка, нука, подробнее?

— Я разбил вазу в его кабинете, она была переполнена этим барахлом. Это, так сказать,— образцы.

— Во-от оно как...— задумчиво сказал Марин, рассматривая кольцо.— Не менее десяти каратов, чистая вода, огромная ценность. Оно не оприходовано? — догадался он.

— Ты думаешь, что я проверил все бумаги в фин-

части и что ни одна вещь не прошла по ведомостям?..— с иронией спросил Зотов.

— А если он оправдается, выдумает что-нибудь?— с сомнением произнес Марин.

— Времени у нас остается в обрез,— хмуро заметил Зотов.— Решать надо. Рюн явится на службу через... — он посмотрел на часы. — Через три часа при самой большой удаче.

— Мне нужно оружие и набор ключей. Готовь побег...

— Хорошо,—кивнул Зотов.— Ровно в шесть утра выходите из камеры и идите свободно до поворота к дежурному, но не сворачивайте, а спускайтесь по боковой лестнице. Выход на улицу будет открыт.

Марин обнял Зотова:

— Прощай, брат, спасибо за все.

— Если доберешься до Севастополя,— Зотов улыбнулся.— Верю, что доберешься, должен... Так вот запомни: там на Графской пристани есть гостиница «Кист» и ресторан. Каждую среду и пятницу жди ровно полчаса, ну, скажем, с 15.30 до 16. Если почему-либо этот ресторан будет закрыт, неподалеку есть еще «Лебедь». Тогда там. Пароля не нужно. Человек тебя узнает в лицо.

До камеры дошли молча. Когда двери закрылись, Марин бессильно повалился на нары.

— Зачем вас вызвали?— спросила Лохвицкая.

— Рюн интересовался, как у нас дела...— открыл глаза Марин.— Я его обнадежил, сказал, что стараюсь завлечь вас, что уже... достиг.

— Хватит!— резко перебила она.— Что за манера гаерничать перед входом в склеп.

— А что мне остается?— Марин развел руками.— Вы же не верите? А я вот уверовал и... твердо, что до утра действительно не доживу. Ну и наплевать. Зинаида Павловна, вы никогда не задумывались о смысле происходящего?

— Что за мысли вас занимают, право?

— Я могу поделиться этими мыслями с вами, если угодно. Сотни тысяч людей, которые были гордостью России, жили прекрасно, имели все, стали жалкими изгнанниками. Они лишены родного очага, разлучены с близкими, у них нет больше родины. Перед отъездом из

Парижа я виделся с Петром Бернгардовичем Струве. Вы знакомы с ним?

— Мне не нравится этот человек. В прошлом он марксист, а я не доверяю переродившимся марксистам.

— Напрасно вы отказываете людям в праве выбора и переосмысления,— заметил Марин.— Это экстремизм, а значит — ложь. В конце концов смысл человеческой жизни в вечном и недостижимом приближении к истине. Только это приближение дает радость бытия. Помните, вы говорили? Мы вечно ищем ответа на одни и те же вопросы и не находим их и поэтому живы. Если же получить ответ на все — гибель. Так уж устроен человек. Увы! Струве был русским. Он был колеблющимся, заблуждающимся, но у него под ногами была родная земля. Теперь он жалкий изгнанник, без пяти минут труп.

— Мысль ясна.— Она посмотрела ему в глаза.— Гражданская война идет к концу. Вместе с нею неминуемо заканчивается белое движение, Врангель. Что ж, вы правы... А теперь послушайте меня. Есть такой специальный термин: «разложение изнутри». Вы — опытный сотрудник розыскных органов, у вас дореволюционный стаж, вы хорошо знаете, что означает этот термин.

Марин пожал плечами:

— Короче — подлинный Крупенский схвачен чекистами, а я только кукла, образ, так сказать... Поскольку вы моя гарантия у белых, я тонко стараюсь перетянуть вас на свою сторону, посеять сомнения и покорить уровнем своей личности. Не так ли?

— К сожалению, так,— вздохнула она.— Представьте неопровержимые доказательства — и я поверю вам.

В коридоре послышались неторопливые шаги и замерли у дверей камеры.

— Это мой агент,— сказала Зинаида Павловна.— Не пытайтесь открыть двери. Получите пулю в живот.

— Сбежится охрана,— возразил Марин.— Глупо...

— Нет, это не глупо. Сейчас я вам задам вопрос. Если вы ответите правильно... Что ж, я буду рада иметь союзником такого человека, как вы. Говорю искренне. Если же нет...— она покачала головой.— Мне очень

жаль, Владимир... Александрович, но агенту придется войти... и убить вас. Прошу верить: я буду горько сожалеть о случившемся, ибо я допускаю возможность ошибки, рокового стечения обстоятельств.

— Я понимаю.— Марин остановился посреди камеры.— Вам не кажется, что вы хотите подвергнуть меня испытанию водой, как средневековую ведьму? Это же просто убийство. Я заранее говорю вам, я вряд ли отвечу на ваш вопрос, ведь назначение я получил скоропалительно, меня совершенно не ввели в курс дела, откуда же мне знать детали? Вы ведь хотите проверить меня на детали?

Она не ответила, и Марин понял, что она уже все для себя решила — окончательно и бесповоротно.

«Вот и финал...— вяло подумал Марин.— Странно заканчивается жизнь. Глупо, скорее... Сказал чистую правду, а она не поверила». И вдруг возникли в памяти — ослепительно и больно колючие глаза Крупенского и фраза его — истеричная, казалось бы, бессмысленная: «Есть одно обстоятельство, которое я утаил». А что, если он обманул? Все знал, был в курсе всех начинаний, всех дел контрразведки... и... соврал. Нет, не похоже. Ход странный, беспочвенный... Нет, не то. Но тогда почему не верит она? Что же, попытаться отыскать в анналах памяти нужный факт? Господи, так я ведь еще не знаю, что ей нужно? Как глупо все! Хорошо... Она сейчас задаст вопрос. Предположим, что я отвечу точно. Победа? А если она все построила гораздо тоньше, расчетливее? Если она знает, что настоящий Крупенский и в самом деле из-за моментально совершившегося назначения не в курсе дел контрразведки, а я сейчас назову ей «нечто» и, предположим, угадаю? Тогда получится, что я выдам себя с головой, ибо угадаю я в ее понимании просто потому, что меня тщательно подготовили?»

— Не нужно волноваться, Владимир Александрович,— сказала она мягко.— Изменить ничего нельзя. Смиритесь. Итак, вопрос.

Он увидел, что она тоже заметно нервничает, и понял, каким-то безошибочным чутьем, что она от души, искренне хочет, чтобы он выдержал экзамен.

— Ладыженский и Маклаков не знают Лохвиц-

кую,— продолжала Зинаида Павловна.— Дело в том, что все свои донесения в Париж я подписывала определенным псевдонимом...

И Марин вспомнил: «Мы длительное время перехватываем шифровки из Парижа,— сказал Менжинский в последний день перед отъездом.— Они адресованы в Крым, некоему Викторову... Попытайтесь выяснить, о ком идет речь». Викторов... Ну какое отношение имеет к ней мужская фамилия? И адресовались шифровки не в Париж, а из Парижа... Нет? Или да? Цена ответа — жизнь... Агент пристрелит не задумываясь... Одна последняя надежда: попытаться поразить ее воображение...»

Марин повернулся лицом к стене, заложил руки за спину и сказал:

— Мне хочется облегчить вам задачу. Возьмите у вашего агента пистолет и совершите правосудие. Сами. Бог вам судья.

— Как вам будет угодно,— сказала она и шагнула к дверям.

Марин не видел этого, он только слышал.

— У генерала Климовича есть резидент в Харькове,— сказал он вдруг.— Сообщения о группировках красных, их передислокациях и планах подписывает господин Викторов. Это все, что я могу вам сказать. Заранее оговариваюсь: лично я никак не связываю этот псевдоним с вами.— Сказал и тут же вспомнил: ведь у известной в свое время «сотрудницы» охранки Зинаиды Гернгросс-Жученко охранный псевдоним был «Михеев». «А они не слишком изобретательны,— подумал Марин,— повторяются...» Он увидел ее испуганные глаза и вдруг испытал мгновенное чувство жалости, и сожаления, и чего-то еще, чему не было названия. Да он и не задумывался, не искал...

Она заплакала навзрыд, и он бросился к ней, сжал ладонями ее лицо. Он почувствовал — ошеломляюще и болезненно, что вместо ненависти к ней, вместо острого желания сдавить ее горло, казалось бы, такого естественного желания, он испытывает совсем другие чувства. То, что эти два дня и две ночи зрело в нем подспудно, то, в чем он не отдавал себе отчета, а вернее, боялся его отдать, случилось, произошло. Он покрывал ее лицо поцелуями. Что ж невероятного было в том, что

она ответила ему сначала робко, сдержанно, а потом, окончательно теряя контроль над собой и рассудок,— безудержно и исступленно... Потом пришло отрезвленье. Они молча лежали рядом, под ними были только неструганые, шершавые доски, с грязного потолка свисала паутина. Они боялись взглянуть друг на друга и чувствовали это. Он думал, что совершил то, что принято было называть «необдуманным поступком», он даже не пытался уверить себя, что поступил так в интересах дела, он честно признался самому себе, что все время сознательно шел навстречу тому, что произошло, и, чего греха таить, хотел этого. И если бы на его месте был другой человек, в данном случае другой работник, но вышедший из социально иной среды, возможно, все бы повернулось по-иному. И этот иной никогда бы не сделал того шага, который сделал он. Нет, не потому даже, что не захотел бы сделать такой шаг в силу воспитания и социально-психологических различий. Пусть он презрел бы эти различия и увидел бы в Зинаиде Павловне не врага, не дворянку, а просто красивую, просто невероятно привлекательную женщину, и все равно — ничего бы не было. Марин это знал. Потому что она бы не захотела, она бы на это не пошла, потому что для нее эти различия — он был уверен в этом — играли главную роль. А она вначале отнеслась к вдруг нахлынувшей лавине чувств, как к чему-то неотвратимому и неизбежному. Она твердила про себя: «Это последняя ночь, кто знает». И этот человек, с таким резко очерченным ртом, таким мужественным лицом, которое не портили ни залысины, ни уже отчетливо читаемые морщинки у глаз и губ, он ведь был первым и единственным в ее жизни, и она это поняла каким-то внутренним чутьем. То, что было до него и было не раз, все это ушло и забылось, оставив в душе когда недолгую боль, когда просто досаду, а чаще всего полное безразличие. Теперь же кто-то словно много-много раз повторил ей: «Это твоя судьба»,— и она поверила этому внутреннему голосу, поверила без оглядки. Что ж, языки исчезнут, и пророчества прекратятся, и знание упразднится, а любовь никогда не перестает, любовь пребудет ныне и присно и во веки веков...

— До рассвета совсем мало времени,— тихо сказала она.

— У меня такое предчувствие, что эта ночь последняя,— отозвался Марин.

— У меня тоже. И это хорошо. Не спорьте. Если бы мы вышли отсюда живыми — все бы разрушилось, сразу и бесповоротно... А так эти минуты останутся со мной навсегда.

— Со мной тоже,— он хотел ей сказать о том, что всего лишь через какой-то час у них появится шанс, но понял, что не следует сейчас разрушать ее состояние. Придет минута, и все произойдет само собой. Пусть она примет это как подарок судьбы, как предопределение. Он подумал, что, если ему вместе с ней удастся добраться до ставки Врангеля, задание можно считать выполненным. Она расскажет обо всем, что произошло, генералу Климовичу, и ее рассказом будут сразу и окончательно исчерпаны все сомнения и подозрения. Он подумал об этом и тут же отогнал от себя эту мысль. Она не была ведь для него просто средством достижения цели. Он никогда не позволял себе использовать средства подобного рода. Может быть, вопреки сложившимся традициям любой разведки, он выглядел «белой вороной», но он был представителем разведки молодой, нарождающейся, революционной; он был представителем иной — нравственной и этичной организации. Она начинала работать по другим законам и применять в своей деятельности иные методы, нежели те, которые веками складывались на Западе. Шел только двадцатый год, ошибки и заблуждения были еще впереди...

Она взяла его за руку:

— Я представила себе на минуту: вы входите в мой дом. Нет-нет, не подумайте, ради бога, что это дворец. Обычная петербургская квартира. Мой отец скромный преподаватель училища правоведения, и квартира наша совсем рядом — на углу Фонтанки и Невы, на втором этаже, маленькая, окна на обе реки, балкон. По вечерам, в погожие дни домик Петра желтый-желтый, а вода в Фонтанке — синяя-синяя...

— Вы представите меня своим родителям?

— Да, конечно. Я скажу: «Папá, вот человек, которого, который»...— она замолчала, потом разрыдалась.

Он молча гладил ее волосы, щеки, плечи. Постепенно она успокоилась и снова начала рассказывать: ей нужно было выговориться, и он слушал, не перебивая.

— В Луге у нас когда-то было маленькое имение.— Она вытерла глаза и аккуратно сложила платок.— Оно пошло за долги — общая наша мелкодворянская участь. Но отец сумел сохранить флигель на краю деревни, у церкви и кладбища. Я ведь очень религиозна... Вы ходите в церковь?

— Редко,— смущенно сказал Марин.— В прошлом. Теперь же совсем не хожу...

— А я каждый день ходила. Мой самый любимый день — великая пятница. Бьют колокола, выносят Плащаницу. Боже мой, как прекрасна жизнь, как она прекрасна, Владимир Александрович! Чтобы понять это, нужно побывать здесь. Теперь я это хорошо усвоила. В последнюю пасху перед войной к нам приезжал государь, запросто, с одним флигель-адъютантом. Однажды я вспомнила этот день...

— Встретились с этим флигель-адъютантом? — пошутил Марин.

Она посмотрела укоризненно и сказала серьезно:

— Встретилась. С бароном Петром Николаевичем Врангелем. Представьте себе: он меня вспомнил и узнал.

«Мне определенно везет,— не удержался Марин от прагматических мыслей.— Или нет, не то... Однажды Дзержинский сказал мне: «У нас некоторые считают, что нравственных целей можно достичь средствами безнравственными. Это не так. Зло рождает только зло, обман и подлость никогда не производили на свет добродетели. Но есть небольшой нюанс. В интересах дела можно совершить один и тот же поступок, но как ни странно — в одном случае этот поступок будет безнравственным и принесет вред, а в другом этичным и приведет к победе. Не понимаете? А все просто. Категорический императив. Есть он в душе, сердце, мозгу — и все на своем месте, нет его — и, подав кусок хлеба голодному, можно совершить преступление».

— Барон очень молод, сорок два года,— сказал Марин.— Достанет ли у него опыта и знаний? Я долго думал, прежде чем дать согласие Маклакову. Да и ситуация в Крыму гробовая, и это еще мягко сказано.

— Почему же вы согласились?

— Потому же, почему барон Петр Николаевич, бу-

дучи совершенно свободным от обязательств по отношению к Антону Ивановичу Деникину, вернулся обратно в Крым. Когда гибнут товарищи по оружию, порядочный человек не может быть в стороне. Это мое убеждение.

— Это хорошее убеждение,— горячо сказала она.— Только бы добраться до наших, только бы добраться! Сколько мы еще успеем сделать, сколько можно и должно успеть... Вы не думайте, я не сентиментальна, нет, но если придется умереть, надобно знать, за что умираешь. Я помню простое и такое милое лицо государя, его чудные синие глаза, его голос... Я помню звон колоколов, я помню солнце. Оно взошло в то утро на совсем безоблачном небе. Все это далекий, далекий сон, но стоит умереть за то, чтобы он повторился...

— Странная ночь,— тихо сказал Марин.— Я надеюсь, Зинаида Павловна... Молитесь и вы, ибо все в руках господних, и пути его неисповедимы. И еще: если мне суждено выйти отсюда живым, я убью этого подлеца Рюна, эту грязную свинью.

— Вы правы,— она провела ладонью по его щеке и улыбнулась.— Но это сделаю я.

— А мне вы... отводите роль простого зрителя? — удивился он. — Это совершенно невозможно.

— Это сделаю я,— в ее глазах сверкнул огонек, и Марин подумал, что чуть-чуть забылся. Ведь она была не просто очаровательной женщиной, его женщиной. Она была резидентом разведки. И это ее качество было в ней главным, пока главным. Об этом не следовало забывать ни на минуту. Она тут же подтвердила его догадку, она сказала: — Я ведь не спрашиваю вашего позволения, я сделаю то, что решила. По справедливости эта акция за мной. Вы ведь хотите убить политического противника, а я просто негодяя, которому нет места на земле.

Звякнул засов. Его открывали осторожно, совсем не так, как при вызове на допрос. Человек, который находился сейчас в коридоре, старался произвести как можно меньше шума. Марин и Лохвицкая замерли. Дверь оставалась неподвижной, слышались удаляющиеся шаги.

— Кто это? — одними губами спросила Лохвицкая.

— Агент,— улыбнулся Марин.— На этот раз мой.

— И вы молчали,— с упреком обронила она, приближаясь к дверям.

— Зачем же тратить слова попусту?— Марин толкнул дверь, она легко поддалась.— Если бы не удалось, я бы взбудоражил напрасно и себя и вас. Это не в моих правилах.—Он выглянул в коридор, там никого не было.— Идемте! — Он взял ее за руку.

— А как же посты, охрана у выхода? — еще не в силах поверить, торопливо спросила Лохвицкая.— У нас даже нет оружия.

— Вы так думаете? —Марин спросил внешне очень сдержанно, но в голосе его явно слышалось плохо скрытое торжество.

Перед дверью, в конце коридора лежал у стены небольшой сверток. Лохвицкая его подобрала и развернула: звякнул набор ключей на круглом кольце, тускло блеснул браунинг. Она щелкнула обоймой — золотом сверкнул верхний патрон. Марин спрятал ключи в карман, отвел ее руку с браунингом.

— Оставьте себе... Просьба: здесь оружия не применять. Если нас арестуют вновь, этот браунинг выведет на владельца. Мне бы не хотелось этого.

— Обещаю,— она профессионально сунула пистолет за корсаж.

До поворота к лестнице дошли без приключений, в коридорах никого не было. Спустились по лестнице. Парадная дверь была открыта и вывела их в переулок. Над городом вставал рассвет. Они находились в одной из самых высоких точек, хорошо видны были многоэтажные дома центра, колокольни соборов и церквей, потом дома уменьшались, словно врастали в землю и наконец превращались в убогие одноэтажные пригороды. Зарябила на ветру пожухшая листва деревьев, по крышам домов медленно двинулась волна света, она теснила тень, и вот уже надо всем Харьковом взошло солнце.

— Нужно спешить. Мы должны выйти из города как можно скорее!— сказал Марин.

Улицы были еще пусты, им пока везло.

— Куда мы идем? — спросил Марин.

— Здесь, недалеко...

Свернули на боковую улочку, потом в переулок. Он был кривой, с пыльными крохотными обшарпанными

домишками в два-три окна. Лаяли собаки, истошно орали петухи, в луже, посередине дороги, блаженно похрюкивала огромная свинья.

— Тихо,— сказала Зинаида Павловна,— словно и нет никакой войны. Мне иногда кажется, что дерутся фанатики. Народу нет до нас никакого дела.

— Вы ошибаетесь,— посмотрел на нее Марин.— Времена, когда народ безмолвствовал, прошли безвозвратно. К сожалению, большинство этого народа не на нашей стороне.

— Вы так думаете?

— Уверен. Осуществят или нет большевики те перемены, которые обещают, покажет будущее, а что может предложить народу барон?

— Он опубликовал указ, по которому земля навечно передается тем, кто ее обрабатывает,— сказала Зинаида Павловна.

— Поздновато,— усмехнулся Марин.— Кривошеину и прочим нашим бонзам с этого следовало начинать, и тогда можно было бы еще поспорить с «товарищами». Теперь же они неодолимы.

— Вы эти мысли держите подальше,— посоветовала Зинаида Павловна.— Их и от близкого человека никто теперь не потерпит, а вы в штабе барона будете человеком со стороны.

— Спасибо за совет. Куда мы идем?

— Уже недалеко...

Вышли на Сумскую. По ней уже двигались редкие автомобили, экипажи, шли немногочисленные прохожие.

— Это здесь,— сказала Лохвицкая.— Неплохо устроился «товарищ» Рюн. Вы не находите?

— Что вы задумали? — Марин очень достоверно изобразил беспокойство, хотя давно и безошибочно все понял, обо всем догадался и по дороге к дому Рюна еще и еще раз взвешивал допустимость того, что должно было произойти через несколько минут. «Рюн — враг,— думал он,— это подтверждено неоднократно. Не было суда, не было приговора, но ведь теперь не мирное время и он, Марин, не у себя дома. Сегодня любой закон подчиняется обстоятельствам гражданской войны...»

Дом был совсем недавней, видимо, предреволюционной постройки и изначально предназначался для бога-

тых нанимателей: адвокатов, врачей, протезистов и интеллигентных купцов. У подъезда с двумя львами на тумбах дремал за рулем новенького «рено» шофер в кожаной куртке. Марин торопливо пересек улицу и первым вошел в подъезд. Зинаида Павловна догнала его через несколько секунд.

— Шофер храпит,— радостно сообщила она.— Выматывает работа, правда?

— Вы правы,— улыбнулся Марин.

Квартира номер шесть находилась на втором этаже. В массивной многофиленчатой двери было четыре замка. Марин присвистнул: «Ничего себе!» — и достал ключи.

— Послушайте, что там, внутри...— попросила Лохвицкая.

Марин прижался к дверям:

— Тихо... — он повернулся к ней и перекрестился.— Ну, дай бог,— он сделал это так естественно, не думая, что сам себе удивился, словно кто-то незримый ненавязчиво и незаметно подсказывал ему нужные слова и движения. Он вставил ключ наугад, в средний замок, крутанул, что-то щелкнуло, и двери поползли.

Это была большая барская квартира, комнат, наверное, на десять-двенадцать, никак не меньше. Лохвицкая шла уверенно, безошибочно сворачивая из коридора в коридор.

— Вы были здесь? — не удержался Марин.

— Нет,— ответила она шепотом.— Нет! Чутье, как у сеттера,— вот и все.

Перед дверью в конце коридора прислушались. Марин облегченно вздохнул: отчетливо доносился легкий ритмичный храп. Видимо, Рюн был во власти сладких утренних снов.

Лохвицкая осторожно нажала на створку двери.

— Останьтесь здесь, вы подстрахуете меня в случае чего...

В глубине комнаты, в алькове, раскинулся на огромной кровати в стиле Людовика XVI маленький человек в полосатых ночных кальсонах. Он крепко спал. Зинаида Павловна медленно подошла к кровати, села на стул и долго, не мигая, вглядывалась в лицо



спящего. Через его левую щеку шла красная полоса — след от шва подушки. Он разрумянился, из-под аккуратной щеточки усов с хрипом вырывалось сильное дыхание. Зинаида Павловна опустила руку за корсаж. Матово блеснул вороненый ствол браунинга. Спящий пошевелился. Зинаида Павловна осторожно тронула его стволом пистолета и отодвинулась.

— Что?! — приподнялся Рюп. Выражение его лица менялось на глазах. Вначале ошеломленное, потом растерянное, когда же он увидел дуло браунинга, стало ясно, что Рюн едва сдерживает панический ужас.

— За насилие над неповинными людьми,— сказала Зинаида Павловна,— вы приговорены к смерти.

— Нет,— одними губами прошептал Рюн.— Н-н-ет! — На одной нескончаемой ноте завопил он и в то же мгновение негромко хлопнул выстрел, второй, третий...

Рюн поперхнулся, осел, по подушке поползла вязкая струйка крови и тут же впиталась в белый батист наволочки. Зинаида Павловна спрятала пистолет и вышла из комнаты.

— А стоило ли? — с упреком спросил Марин.— Огромный риск.

— Каждый негодяй должен получить возмездие,— жестко возразила Лохвицкая.— А этот — тем более!

Вышли на улицу. Шофер продолжал посапывать во сне. Несколько мгновений Марин раздумывал, потом подошел к шоферу и точно рассчитанным движением сдавил пальцами его шею с двух сторон, под ушами. Выволок из машины, втащил в подъезд, взвалил на плечи и бегом поднялся на второй этаж. Здесь он вошел в квартиру, положил шофера на коврик в прихожей и аккуратно притворил за собой дверь. Он знал: раньше, чем через 20—30 минут, парень вряд ли очнется. Зинаида Павловна уже сидела в автомобиле. Марин включил зажигание и нажал акселератор. Впереди был Севастополь, штаб Врангеля. Впереди было главное...

Примерно через два часа после этих событий в кабинет Дзержинского вошел начальник опера-

тивного отдела Артузов. В руке он держал бланк телеграммы и с трудом сдерживал волнение.

— Вот. Я только что получил это. Читайте...— сказал он с усилием.

— «Рюн убит агентом врангелевской контрразведки Лохвицкой,— вслух прочитал Дзержинский.— Зотов».

Дзержинский положил телеграмму на стол:

— Вы чем-то взволнованы, Артур Христианович?

— Я не совсем понимаю, что же, собственно, произошло?

— По-моему, ничего особенного. Просто Марин выполнил первую часть своего задания. Вы не согласны? — Дзержинский едва заметно улыбнулся.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У ВРАНГЕЛЯ



Третий день они жили на окраине поселка, в доме связника врангелевской контрразведки. Лохвицкая знала к нему пароль. Во двор выходили только глубокой ночью, подышать. В погребе было холодно и смрадно. От тяжелого запаха гнили Лохвицкую постоянно подташнивало. Хозяин два раза в день приносил еду и подмигивал по очереди: сначала Марину, потом Зинаиде Павловне. Каждый раз он произносил одни и те же слова: «Этой ночью». По его сведениям, части генерала Слащева на этом участке фронта должны были с минуты на минуту перейти в наступление, и вот третья ночь заканчивалась, а белых все не было. Марин начал нервничать:

— Вы уверены в этом типе?

— Вполне. Он оказал нам серьезные услуги и участвовал в расстрелах.

— Может быть, попытаемся перейти линию фронта самостоятельно?

— А если попадем под обстрел? Пройти на стыке красных, точно выйти к нашим — здесь одних глаз и чутья мало, Владимир Александрович...

Он и сам понимал, да, мало. Но сидеть вот так, сложа руки, было не в его правилах. Он все время искал выхода, искал и не находил. Под утро отчаянно заскрипела входная дверь. Хозяин нарочно держал ее несмазанной, чтобы никто не мог тихо войти и застать врасплох. Марин и Лохвицкая услышали топот сапог, судя по всему, в горницу ввалилось человека четыре.

— Ваше благородие,— радостно завопил хозяин.— Вот уж не ждали. То есть ждали... да вы тихо, без выстрела. Вымели краснюков?

Марин прижался к щели в полу и сделал знак

Лохвицкой не двигаться. Он увидел в необычном ракурсе, резко снизу, офицера и двух унтеров.

— Вымели, вымели,— небрежно отмахнулся офицер.— У тебя тут, сказывают... посторонние скрываются.

Марин увидел, как удивленно расширились глаза Зинаиды Павловны, и вдруг сообразил, что наверху совсем не белые.

— Посторонние? — переспросил хозяин.— Да нет, вашбродь, с чего вы взяли?

— А с того! — обозленно выкрикнул человек в офицерской форме.— Сведения у нас, вот что. Давай, Митин, по-хорошему, а не то...

Марин вынул из-за назухи маузер. Он им обзавелся всего лишь два дня назад: выиграл в поезде в карты у какого-то проезжего блатного гастролера. Лохвицкая достала свой браунинг.

— У меня никого нет,— мертвым голосом сказал Митин, и офицер приказал:

— Лепцов, осмотреть!

Марин взял Зинаиду Павловну за руку, отвел в глубь погреба, к бочкам с соленой капустой, и потом вернулся к люку и встал за лестницей. Некоторое время по дому разносился топот, потом сквозь щель в крышке люка ярко вспыхнула керосиновая лампа, и люк откинулся. По лестнице начал спускаться человек в обыкновенном солдатском обмундировании, с винтовкой в правой руке и керосиновой лампой —в левой. Марин увидел его погон: три лычки — унтер-офицер... Спустившись совсем, унтер прибавил огня и на вытянутой руке повел лампу по кругу. Он щурил глаза, и Марин понял, что видит он плохо, вернее, совсем ничего не видит. Вот он повернулся к лестнице. Марина он пока не замечал, зато Марин рассмотрел нечто, окончательно подтвердившее его догадку: на фуражке унтера поблескивала новенькая кокарда, а под ней, и это хорошо было видно, лучиками расходились по околышу фуражки невыгоревшие участки сукна, образовывая пятиконечную звезду. И Марин понял: кто-то из местных жителей сообщил о посторонних в ближайшую воинскую часть Красной Армии, и там, подозревая Митина, решили вывести его на чистую воду с помощью не-

сложного маскарада, да и ошиблись. Вероятно, Митин был сметлив и наблюдателен, и простонародное «сказывают» в устах офицера поразило его и заставило быть настороже. Все эти мысли промелькнули в голове Марина в сотую долю секунды. Он ощутил мгновенно, всеми порами кожи: сейчас «унтер» увидит его. Тогда — конец. Их разделяла лестница. Марин не мог нанести удара. Стрелять? Перед ним был свой...

— Товарищ! — вдруг негромко донеслось из глубины погреба. Это звала Зинаида Павловна.

Унтер не успел увидеть Марина. Он повернулся на зов — Зинаида Павловна рассчитала точно — и в этот момент Марин выскочил из-за лестницы и нанес удар ребром ладони. Он бил под ухо, бил расчетливо, чтобы человек потерял сознание сразу, мгновенно и не успел позвать на помощь. Унтер рухнул, Марин подхватил его винтовку.

— Лепцов! — послышалось из горницы.— Ну, что там у тебя? Чего молчишь?

В люк свесилась голова в офицерской фуражке. Марин подпрыгнул, захватил шею «офицера» с двух сторон, сдавил, «офицер» слабо захрипел и сполз по лестнице на дно погреба.

— Третий,— тихо сказала Зинаида Павловна.

В люк заглянул Митин. Изумленно покрутив головой, протянул:

— А-ар-тисты!

— Третий где? — спросил Марин.

— Лазит по сеновалу. Ищет,— с издевкой сказал Митин.— Щас явится.

— Встань за дверью и, как войдет, оглуши чем-нибудь,— приказал Марин.— Не сильно, чтобы не помер.

— А что их жалеть, вашбродь,— озлился Митин.— Они нас что, пожалеют?

— Делай, как сказано,— прикрикнула Зинаида Павловна.— Их нужно будет потом как следует допросить.

«Простите меня, ребята,— Марин связал руки и ноги «унтеру» и его «начальнику». — Предстоит вам смерть, а я, видит бог, не виноват... Не в свое вы дело полезли, братцы...»

С третьим покончили в минуту. Он потерял сознание, так и не поняв, что же, собственно, произошло. А на рассвете громкое и слаженное «ура!» на улице, лязг танков и редкие выстрелы известили о том, что пробил долгожданный час: в поселок вошли корниловцы. Полковник, командир корниловской роты, долго мял толстыми волосатыми пальцами шелковку Марина, потом пробурчал.

— Ну хорошо. Я доложу по инстанции, однако вам и вам, сударыня,— он поклонился в сторону Зинаиды Павловны,— придется обождать.

— Долго? — нетерпеливо осведомился Марин.

— Долго! — с вызовом сказал полковник.— Лично я вас и вашу очаровательную спутницу,— он снова отвесил поклон,— не знаю, это раз. Командуем здесь мы — это два. Жандармов и шпиков и всякую сволочь из контрразведки я всегда терпеть не мог — это три.

— За что же, если не секрет? — спокойно спросил Марин.

— Вам интересно? — оживился полковник.— Извольте... До сегодняшнего дня начальником «каэр» у нас был военный чиновник Николаев. Он «шил» дела офицерам и присваивал их вещи: часы, кольца, деньги, особенно любил «клеить» статью за дезертирство.

— И что же вы? — спросила Зинаида Павловна.— Вы снеслись с генералом Климовичем, доложили?

— А зачем? — улыбнулся полковник.— Вот сегодня утром пошли в атаку, я его и пристрелил.

— Как? — опешил Марин.

— Да уж так! — скромно потупился полковник.— Он ведь, этот Николаев, всюду вынюхивал, подчас и в боевых порядках хаживал, а сегодня я зашел к нему в спину — и ба-а-бах!

— Однако,— покачала головой Зинаида Павловна,— вас судить надо.

— А его?

— Его уже нет, а вы не обратились к законной власти.

— А где она, законная власть? — ощерился пол-

ковник.— Врангель, что ли? На этом пятачке, именуемом Крым?

— На этом последнем оплоте горстки русских людей, которые противостоят большевистской тирании,— сказала Зинаида Павловна. Но фраза прозвучала фальшиво, нелепо и беспомощно. Марин почувствовал, что она это поняла. Полковник продолжал рассматривать ее в упор и тоже молчал.

— Что ж, офицеры, конечно, погибли по вине этого Николаева мученически,— попытался разрядить обстановку Марин,— но и вы отомстили. Поскольку я убежден, что вы — честный офицер, дела возбуждать не стану.

— Как, как? — приложил ладонь к уху полковник.— Не станете? Вы? А кто вы, собственно, такой, кроме того, что вы «член ассоциации» или как там ее...

Марин встал:

— Я подполковник Крупенский. Приказом барона я назначен помощником генерала Климовича. Прошу вас держать себя в рамках, полковник.

— Клинбовский! — заорал полковник.— Ко мне! — В горницу влетел совсем еще юный подпоручик. У него были бессмысленные глаза явного кокаиниста и заметно трясущиеся руки.

— Господин полковник...— попытался он вытянуться и щелкнуть каблуками, но каблуки не сошлись и подпоручик едва не упал.

Марин и Лохвицкая переглянулись, едва удерживаясь от смеха. Полковник бросил на них яростный взгляд и крикнул:

— Троих связанных из подвала и этих двоих,— он ткнул пальцем в Марина и Лохвицкую,— вывести в удобное место и расстрелять!

— Конвой! — в свою очередь заорал подпоручик.

Ввалились юнкера.

— Господа,— с пафосом сказал полковник,— мною задержаны пятеро подозрительных. По закону военного времени все подлежат расстрелу. Клинбовский, командуйте!

— Пленных не трогать! — спокойно сказал Марин.— Их будут еще допрашивать.

Красные со связанными руками стояли, покачиваясь, у дверей. Марин видел, что каждый из них с огромным трудом удерживается на ногах.

— Что касается меня и дамы,— спокойно продолжал Марин,— вы должны проявить благоразумие и терпение. Господа, ваш командир нервничает, вероятно, на него подействовала атака и смерть господина Николаева.

Юнкера начали переглядываться, неугомонный Клинбовский — вероятно, он только что вынюхал изрядную дозу кокаина — взмахнул рукой над головой, призывая слушать команду:

— Юнкера, штыки прим-кнуть!

Щелкнули штыки. Юнкера делали это нехотя, вразнобой, видно было, что они без особого почтения относятся к своему офицеру.

— Наперевес! — продолжал орать Клинбовский.— Осужденных окружить, шагом марш!

Послышался шум автомобильного мотора, стук дверей, возгласы приветствия. Двери распахнулись, и вошел круглолицый человек, невысокого роста, в бурке.

— Ваше превосходительство,— вытянулся полковник,— докладывает полковник Стелобат. Задержаны большевистские эмиссары, мы готовимся их расстрелять!

— Расстрелять?— Человек в бурке бегом пересек комнату и вернулся обратно.— Очень хорошо! — Он улыбнулся, и Марин увидел два ряда изрядно порченных зубов. — А, Клинбовский... — Человек бросил бурку на руки подпоручику, и Марин едва поверил своим глазам: на плечах гнилозубого действительно поблескивали золотые генеральские погоны, они были пришиты белыми нитками на белый ментик с шелковыми желтыми шнурами. Вокруг шеи генерала был завязан в узел красный шелковый шарф. Брюки черного цвета с серебряными сверкающими лампасами обтягивали довольно-таки кривые ноги. Завершали этот фантастический костюм цыганские лаковые сапоги с огромными шпорами.

Марин посмотрел на Зинаиду Павловну. Ее лицо залила краска не то стыда, не то злости.

«Да это ведь сам генерал Слащев,— вдруг догадался Марин.— Гроза красных полков, садист и вешатель. Ну и ну... Вид у него, как у героя дешевой оперетки...»

— Клинбовский, у тебя есть... что-нибудь? — спросил Слащев.

— Никак нет, ваше превосходительство,— дико заорал Клинбовский.— Но к обеду будет, мне обещали.

— Поторопись, братец,— просительно сказал Слащев.— Плохо мне— сам видишь.

«Кокаин просит,— снова догадался Марин.— Как они до сих пор воюют, ублюдки, непонятно!»

— Ваше превосходительство,— шагнула вперед Лохвицкая,— вы меня знаете. Мы встречались в гостинице «Кист», в штабе, если вспомните...

— А-а...— заулыбался гнилым ртом Слащев.— Так это вы, так это вас к расстрелу... Какая жалость! Однако ничего не могу. Ни-че-го-с...— он развел руками.— Слово офицера — закон! Сказано — сделано! Клинбовский, за мной!

— Да вы пьяны, генерал,— с отвращением сказала Зинаида Павловна.— Это мерзко, это подло наконец! Мы жертвуем жизнью, мы выцедили из себя всю кровь, до последней капли, а вы жрете кокаин и коньяк, забавляетесь в своем вагоне с непотребными женщинами... Вы — предатель, подлец, скотина!! — она исступленно кричала, уже ничего не соображая.

«Это конец,— подумал Марин.— Слащев не простит... Надо же... Пройти весь путь, достичь цели и погибнуть так нелепо из-за кретина полковника и наркомана генерала...»

Несколько мгновений Слащев молча сверлил Зинаиду Павловну взглядом налившихся кровью глаз, потом сказал негромко, спокойно и ровно, как будто ничего не произошло и сам он был в совершенно нормальном состоянии:

— Через два часа всех пятерых доставить в мой вагон,— вышел, хлопнув дверью.

Воцарилось тягостное молчание. Полковник щелкнул крышкой портсигара, закурил.

— Клинбовский, уведите людей.

Затопали юнкера. Марин сел у окна и стал смотреть на улицу. По проселку, пыля, маршировала какая-то офицерская часть, протарахтел броневик.

— Если фронт хотя бы ненадолго стабилизируется,— сказал Марин, обращаясь к Зинаиде Павловне,— у нас появится шанс. Все может решить даже короткая передышка.

— Не дадут они нам даже короткой,— полковник швырнул окурок на пол и раздавил, не попытавшись отыскать пепельницы. — Зря вы сюда пожаловали, господин контрразведчик. В Париже, поди, хорошо?

— Неплохо,— сказал Марин.

— Каштаны...— закатил глаза Стелобат,— женщины, нормальная человеческая жизнь. Вы совершили ошибку, вы еще убедитесь в этом.

Снова вошел Клинбовский и бросил ладонь к козырьку:

— От красных парламентеры, с белым флагом, идут по направлению окопов третьей роты.

— Прикажите их пристрелить,— нахмурился Стелобат.

— А я думаю, их стоит выслушать,— заметил Марин.

— Полагаете, они предложат сдачу? — ехидно спросил Стелобат.

— Вашу? — уточнил Марин.— Возможно.

— Я имел в виду их сдачу...— набычился полковник.— Пристрелить — и все. Действуйте, Клинбовский.

— Вы еще не настрелялись? — спросила Зинаида Павловна.— Так вот: мы с господином Крупенским желаем видеть парламентеров. Кроме того, интересно, как отреагируют на их приход солдаты.

— У нас юнкера и офицеры,— уточнил Стелобат.

— Тем более. Клинбовский, ведите на место,— приказала Зинаида Павловна.

Подпоручик жалостно взглянул на полковника и распахнул двери:

— Прошу за мной, господа...

Окопы, только что отбитые у красных, начинались сразу же за поселком, метрах в двухстах. По зигзагу хода сообщения Марин и Лохвицкая прошли в первую линию.

— Вот они,— юнкер протянул Лохвицкой бинокль.— Уже совсем близко.

Лохвицкая настроила окуляры. Да, вот они. Трое. Тот, что с флагом, совсем еще молодой... Она протянула бинокль Марину. Но он все видел и без бинокля. Стараясь держать равнение и шаг, к позициям корниловцев приближались три человека.

— Не стрелять! — приказал Стелобат, бросив взгляд на Зинаиду Павловну.

Красные подошли к брустверу окопа и остановились. Тот, что нес флаг, передал его своему товарищу и спрыгнул в окоп. Заметив полковника, откозырял:

— Командир роты Красной Армии Горбылев. Имею поручение от своего командования.

— Что вам надо? Говорите и проваливайте.

— Юнкера! — вспрыгнул на бруствер Горбылев.— По поручению комфронта товарища Фрунзе я должен передать вам следующее: через несколько дней начнется решающее наступление Красной Армии. Его не остановить. Вы будете сброшены в море, потому что на вашу долю осталось только прикрыть отплытие вашего командующего и прочей военной и штатской сволочи, которая ценой ваших молодых жизней вывезет за границу свои сундуки с золотом.

— Приказываю замолчать! — взвизгнул полковник.— Иначе прикажу стрелять!

— За нашей спиной три батареи тяжелых орудий. Прицел — ваши окопы. И если с нами что случится, вас разнесут на клочки,— крикнул Горбылев.— Юнкера, Врангель продал богатства Крыма Антанте. На его яхте «Лукулл», что стоит у причала Севастопольского порта, мешки с золотом, цена народного достояния!

— Это он, положим, врет,— тихо заметила Зинаида Павловна.

— Любая пропаганда — тенденциозна,— пожал плечами Марин.— Однако вы посмотрите на этих

мальчишек. Действуют слова «товарища» Горбылева.

— Сдавайтесь, юнкера,— кричал Горбылев.— В Париже столы в кафешантанах накрыты не для вас! Вас ждет голод, унижение! Между тем в новой, Советской России мы никому из вас и никогда не вспомним прошлого, не укорим! Сдавайтесь! — Он швырнул в воздух пачку прокламаций, они разлетелись над окопами. Четко повернувшись налево кругом, красные парламентеры двинулись в обратный путь. Трепетал на ветру белый флаг, легкая пыль вилась под ногами.

— Красиво идут,— сказал Марин.

— Дай-ка,— Стелобат выдернул из рук юнкера винтовку и прицелился.

— А стоит ли? — не удержался Марин.— Есть законы войны, общие для нас и для них. Они, между прочим, пообещали вам даже старого не вспоминать.

Ударил выстрел. Горбылев подпрыгнул и повис на руках своих товарищей.

Вагон генерала Слащева стоял вдалеке от станции, на запасных путях. По дороге юнкера охраняли только красных. Марин и Лохвицкая шли свободно, но Марин успел пару раз перехватить взгляды, которыми то и дело обменивались Стелобат и Клинбовский.

— Они нас пристрелят,— сказал Марин Зинаиде Павловне,— как пить дать.

— Не посмеют,— возразила она.— Нет.

— Во всяком случае на провокации не реагируйте и не отходите от меня ни на шаг,— предостерег Марин.— Они способны на все.

Тем не менее до вагона дошли без всяких приключений. Из дверей выглянул капитан с адъютантскими аксельбантами и распорядился:

— Этих троих — через второй вход. Там им выделено купе и конвой.

Посмотрел на Марина и Лохвицкую, спрыгнул на землю и взял под козырек:

— Господин Крупенский и вы, сударыня, генерал



ждет.— Он помог подняться Зинаиде Павловне и Марину, потом привычно взлетел вверх и распахнул двери, ведущие в коридор.— Это наши служебные купе, проходите, прошу. Салон генерала впереди, вот в эти двери. Прошу.

Марин переступил порог и снова с трудом удержался от возгласа изумления. После знакомства со Слащевым он всего ожидал от него, но то, что он увидел теперь,— превосходило самые невероятные ожидания: повсюду стояли диваны, на мгновение показалось, что весь салон состоит из одних диванов. Все они были сплошь завалены оружием: кавказские шашки в серебре, маузеры и наганы, кинжалы и финские ножи — все это лежало как попало, вразброс. Тут же валялись колоды карт, новые и початые. Грязный ковер был усеян окурками папирос и сигар. Повсюду громоздились горы полупустых и совсем еще полных бутылок со спиртным и немытая посуда с остатками еды. И что было самым странным и необъяснимым: по всему салону важно расхаживал огромный журавль, на столе сидела черная ворона, на голове у хозяина салона — маленькая ласточка.

— Рад,— Слащев встал и элегантно поцеловал руку Лохвицкой. Ласточка взлетела и села на шкаф.— Господа, я и мои друзья от души приветствуем вас в этом скромном жилище. Прошу садиться.— Он подал пример и что-то шепнул адъютанту. Тот поклонился и вышел.— Сейчас прицепят паровоз, и мы отправимся в Симферополь,— продолжал Слащев,— оттуда до ставки рукой подать. Автомобиль уже ждет. Вы знаете последнее радио красных?

— Нет, ваше превосходительство,— сказал Марин.

— Нам всем предложена почетная сдача,— сказал Слащев.— Гарантируют жизнь, прощение всем. Кроме убийц. Кроме меня...— он визгливо и неестественно засмеялся.— Я в свою очередь радировал барону. Я ему посоветовал заменить на всех радиостанциях персонал. На офицеров. А там, где невозможно,— ликвидировать станции. Я прав?

— Правы,— кивнул Марин.

— А вот еще одна новость,— обрадовался Слащев.— Выпьем, господа. Вчера барон известил меня о том, что я возведен в чин генерал-лейтенанта и к моей скромной фамилии добавлен весьма весомый титул — Крымский.— Он обвел Марина и Лохвицкую сияющим взглядом.— Не скрою, это было моей давнишней мечтой.

Вошел адъютант с ящиком в руках. Из ящика торчали обернутые в золотую фольгу горлышки бутылок.

— Шампанское! — захлопал в ладоши Слащев.— Это грандиозно и очень к месту! Открыть, капитан! — Хлопнули пробки, через край бокалов хлестнула пена. Пил Слащев неряшливо, то и дело обливая свой замысловатый костюм.

«Фат, глуп, как пробка, заносчив и без всяких тормозных центров,— подумал Марин,— но он нас бил, и бил крепко, талантливо. Тут что-то не так. Нужно быть начеку...»

Зинаида Павловна чуть пригубила бокал и отодвинула его в сторону. Марин чувствовал, что она очень страдает от всего происходящего, что ей горько и стыдно. Конечно, ей бы хотелось представить Марину крымских героев совсем иными — идейными борцами, титанами.

Поезд тронулся и пошел, медленно набирая ход. За окнами промелькнули разбитые станционные строения, пожухлые осенние кустарники, потом из-за поворота понеслась навстречу бескрайняя, уходящая к горизонту степь. Слащев задумался, поставил бокал. На стыках вагон подрагивал, скрипел, и бокал отзывался мелодичным и чистым звоном.

— Вы свежий человек из Парижа, наверное, задаете себе вопрос,— вдруг произнес Слащев совершенно трезвым голосом.— Вы спрашиваете себя, как же воюют эти люди? Этот Стелобат, эти мальчишки юнкера, наконец, этот опереточного вида генерал, безудержный пьяница и наркоман?

— Я не задаю себе таких вопросов,— сказал Марин.

— Врете, задаете,— уверенно и зло сказал Слащев. — Слушайте, я отвечу. В 18-м русские люди поднялись против большевистской тирании. Их было ма-

ло, этих героев: Алексеев, Корнилов. Но им верили. Под их знамена встал цвет армии, потом знамя, выпавшее из их рук, подхватил Антон Иванович Деникин, но военное счастье изменило и ему. Многие у нас считали, что виной тому генерал Романовский, начальник штаба. А дело не в нем. Генерал Врангель призывал Деникина оказать Колчаку реальную помощь, когда сибирские армии вышли к Волге. Деникин не пошел на это. Итогом княжеских распрей когда-то стало татарское иго, итогом распрей командующих и правителей сегодня — большевистское иго, тяжкое, многовековое, можете не сомневаться...— Ласточка снова вспорхнула ему на голову.

— Еще не вечер,— сказала Зинаида Павловна.

— Ма-дам,— усмехнулся Слащев.— Не вам говорить, не мне слушать. От катастрофы нас отделяют месяцы, если не недели. И вот я спрашиваю вас, что делать мне, боевому генералу, пролившему море крови большевиков? Оставаться? Воевать дальше? Плюнуть на все?

— А присяга? — осторожно спросил Марин.— Тем более добровольное подчинение, в которое мы все себя поставили...

— Вот,— подхватил Слащев.— Для русского человека, дворянина верность данному слову — закон. Я воюю, господа, и пью, пока не найдет меня пуля, пущенная меткой рукой моего же бывшего солдата, а ныне «товарища». За победу, господа! — Он залпом осушил полный бокал и сразу же вновь налил его до краев.— Сдаться я не могу, поздно...— Теперь он говорил тихо, с горечью.— Красные меня никогда не простят, ни-когда, а ведь Россия, родина, боже мой, какое мне в конце концов дело, кто управляет ею: царь, псарь, холоп. Я же русский, русский я, господа, и несть мне милосердия, помилования несть... — Он зарыдал. Ласточка слетела с его головы, и тут же ее место занял ворон.

— Яков Александрович, прошу вас, перестаньте, давайте лучше пить,— Зинаида Павловна наполнила бокалы.

Марин вышел в коридор. Здесь начинались обыкновенные купе. Вероятно, в них размещался конвой

Слащева. Из-за дверей доносилось нестройное пение.

Марин прошелся по коридору. Со стуком раскачивался фонарь со свечой, начинало заметно темнеть. Марин приложил ухо к дверям предпоследнего купе, потом перешел к следующему. Он услыхал, как переговариваются между собой красноармейцы.

— Погоны тоже надо надевать с умом,— говорил кто-то за дверью.— Митин, он что, дурак полный? А ты форму надел, а словам не выучился.

— Что уж теперь,— вздохнул собеседник. Вероятно, это был старший, тот, что играл роль офицера. Марин узнал его по голосу.— Главное, ребята, держать язык за зубами. Себя не ронять. Мучить станут — терпите. У тебя, Лепцов, семья есть? — продолжал спрашивать старший.

— Не-е. А у тебя?

— Жена в Харькове, теща.

— Жа-аль. Не разгадали мы этого Митина, шкуру. Где едем-то? Симферополь скоро?

Марин курил. Никто не появлялся в коридоре уже минут пять. Слащевские конвойцы в соседних купе перестали петь и о чем-то спорили. Потом замолчали. Марин подошел к их купе, открыл. Четверо юнкеров во главе с офицером сладко похрапывали на полках. Марин открыл еще одну дверь: здесь была та же картина — на верхней полке лежал Стелобат и, сосредоточенно глядя в потолок, декламировал заплетающимся языком:

— От ли-ку-ющих, праздно бол-та-ю-щих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибаю-щих, за великое дело...

Он забыл последнее слово и силился вспомнить, но не мог и начал все сначала:

— От ли-ку-ющих...

Марин закрыл дверь. Порядки в вагоне комкора Слащева были под стать ему самому. «Может, воспользоваться? — подумал Марин. Мысль обожгла, и он тут же отогнал ее.— Нет! — думал он.— Чепуха. Я не имею права. Жертвы бывают в любой войне. В нашей, незримой, тоже. Это не оправдание, а неизбежность, непреодолимая неизбежность — вот и все».

А дверь была рядом, только руку протянуть, да и заперта ли она? В этом хаосе все возможно, абсолютно все. Ведь, прежде всего, он человек, товарищ этих парней — по борьбе, по партии, по работе, наконец... Он должен, обязан сделать все, чтобы освободить их... Но он — разведчик, он приступил к выполнению ответственнейшего задания, он не принадлежит себе и не имеет права поддаваться эмоциям. Эти люди должны быть предоставлены самим себе, своей судьбе, иного решения просто не может быть...

А в коридор по-прежнему никто не выходил, и тогда Марин понял, что все его рассуждения — это не более чем слабая попытка победить самого себя, причем победить совершенно не в равном споре. Ведь тот Марин, что отвечал, был явно прав, а тот, что приводил доводы, тот просто зря терял время. Марин решил спасти ребят: ценой собственной жизни? Возможно! Ценой невыполненного задания? Он шел и на это, хотя в глубине души рассчитывал, что ему повезет, что-то подсказывало ему: на этот раз осечки не будет. А если?.. Он торопливо, словно школьник, застигнутый на месте преступления, отдернул пальцы от ручки дверей и тут же решительно и бесповоротно вцепился в эту ручку, нажал, но она не поддалась. Марин достал ключи, выбрал, вставил в замок. Пока ключ с хрустом проворачивался, выгоняя ригель замка из гнезда, Марин еще успел вспомнить, как однажды после ареста Сиднея Рейли Менжинский сказал: «Профессионал высочайшего класса, а проиграл. Причин тысячи, но главная — одна. И до тех пор, пока в этом главном мы будем отличаться от них, мы будем выигрывать. Главное — категорический императив! Мы нравственны». Дверь бесшумно отошла в сторону. Красноармейцы перестали разговаривать и ошеломленно уставились на Марина. Вероятно, они ожидали увидеть кого угодно, только не его.

— Двери я оставлю открытыми и уйду,— сказал Марин.— Конвой перепился и спит. Если пройдете, обо мне нигде и никому ни слова! Ни вашим, ни нашим, запомните!

Все трое не сводили с него испуганных глаз.

— Вы в форме,— продолжал Марин.— Только как можно меньше открывайте рот. Руки! — приказал он, доставая нож. Он перерезал веревки на их запястьях и тщательно собрал обрезки.— Прощайте! — задвинул дверь и направился в конец коридора, в уборную. Там он бросил обрезки в унитаз, спустил воду, а потом, сунув два пальца в рот, вызвал у себя обильную рвоту. Через минуту он появился в салоне с мокрыми лацканами пальто, бледный, с трудом сдерживая икоту.

— А мы вас, голубчик, потеряли,— заплетающимся языком произнес Слащев.— Я вот капитана за вами посылал, а он... идет, а ноги его не идут. Видите? — Адъютант сидел на полу и по очереди поднимал свои ноги. Они со стуком падали.

— Аптечки нет? — спросил Марин.— Я, по-моему, отравился.

Зинаида Павловна налила из графина воды, протянула ему стакан.

— Выпейте, это консервы, меня тоже тошнит.

— Союзнички,— пробормотал Слащев.— Кормят дерьмом, обдирают и обманывают.— Мерзав-цы! — Голова его стукнулась об стол. Он захрапел.

Поезд прибыл в Симферополь утром и снова остановился на запасных путях. Марин выглянул в окно и увидел большой, уже изрядно потрепанный лимузин. Это была «Испано-Сюиза» Слащева. За рулем дремал солдат-шофер в больших очках-консервах и кожаной фуражке. В купе вошел адъютант. У него было совершенно непроницаемое выражение лица. Он странно посмотрел на Марина и сказал ровным невыразительным голосом:

— Его превосходительство ждет вас, господин Крупенский.

— Где дама? — спросил Марин, и адъютант ответил все тем же безразличным голосом:

— В салоне у генерала.

— Что-нибудь произошло? — Марин понял, что побег красноармейцев, по всей вероятности, обнаружен только что.

— Да.— Видимо, адъютант не счел нужным скры-

вать и продолжал тем же бесстрастным голосом: — Большевики, захваченные вчера, бежали.

— Ведется преследование?

— Нет.

— Но почему? — искренне удивился Марин.

— Вы всё узнаете. Прошу.— Адъютант распахнул двери купе и пропустил Марина вперед. Лохвицкая и в самом деле уже была у Слащева. Она сидела около окна, положив ногу на ногу, и курила. Марин заметил, что она с трудом скрывает раздражение и волнение.

— Ваше превосходительство... — поклонился Марин.— Мадам...

— Владимир Александрович,— сказал Слащев тихо,— пленные бежали.— Слащев был бледен, говорил с трудом, но глаза у него были осмысленные.

— Я знаю,— сказал Марин.— Я удивлен, что вы не приказали преследовать.

— А зачем? — спросил Слащев.— Население здесь враждебно нам. Они укроются у местных жителей, а ночью перейдут линию фронта, если фронт сам не придет к ним, как пришел к вам... — помолчав, прибавил Слащев.— Какой же толк в преследовании?

— Прикажете написать рапорт? — осведомился Марин.

— Прикажу забыть,— все так же тихо сказал Слащев.

— О чем? — Марин сразу все понял, но изумление его было настолько велико, что он решил выиграть время для размышления этим своим бессмысленным «о чем».

— О том, что пленные вообще были,— уточнил Слащев.— Начнется проверка, пострадают мои люди, да и вы, как мне помнится, долго отсутствовали. Вас, кажется, рвало?

Марин хотел ответить резко и сразу, что называется, взять быка за рога, мол, что, подозреваете? А я чист и мне безразлично. Но Лохвицкая опередила его:

— Я думаю, генерал прав. Не стоит поднимать шум. Мы все выглядим далеко не лучшим образом: и вы, и я, и...— она посмотрела на Слащева в упор,— вы тоже, ваше превосходительство.

— Но... ваш адъютант,— сдался Марин.— Юнкера?

— Адъютант сделает так, как я ему прикажу,— уверенно заявил Слащев.— Он уже переговорил с конвоем.

— А Стелобат?

— Он умер,— спокойно сказал Слащев.

Как ни владел собой Марин, удержаться не сумел — провел рукой по вдруг вспотевшему лбу, пробормотал:

— Однако...

— Привыкайте,— зевнул Слащев.— Все ходим под богом...— Он перекрестился.

Марин и Зинаида Павловна последовали его примеру.

— Дрянь был человек, и офицер — тоже. Господа,— Слащев встал,— автомобиль ждет вас. По прибытии в Севастополь шофера прошу сразу же отпустить.

Спустились на дощатую платформу. Слащев протянул Марину руку:

— Рад был познакомиться...

Подошел к Лохвицкой и совершенно неожиданно впился губами в ее щеку:

— С-сударыня...— почти простонал он.— У меня нет слов!

Марин осмотрелся. На фонарях, что протянулись вдоль платформы, ветер раскачивал длинные серые мешки. Слащев перехватил взгляд Марина:

— Бунтовщики. Иначе нельзя-с...— он откозырял и скрылся в вагоне.

Долго молчали, потом Марин сказал:

— Знаете, всего ожидал. Понимаю: армия гибнет и разлагается, но такого? Нет. Сказали бы — не поверил.

— И не поехали бы, да? — она нервно натягивала перчатки и отвела глаза в сторону, когда Марин посмотрел на нее и резко ответил:

— Не поехал бы. Вы угадали.

— Ну и прекрасно! — с вызовом взглянула она.— Инцидент исчерпан и предан забвению. Свои мысли по данному поводу похороните. У нас не любят мыслителей.

До Севастополя доехали без приключений. Лохвицкая предложила отправиться в «Кист» отдыхать, но Марин настоял на том, чтобы незамедлительно явиться в штаб, к генералу Климовичу. Поехали на Графскую пристань. Контрразведывательный отдел штаба помещался на втором этаже и имел совершенно отдельный вход. Контрразведчики занимали все левое крыло, шесть номеров, в седьмом — люксе был кабинет Климовича. Адъютант, молоденький прапорщик в черном корниловском мундире, с любопытством осмотрел Марина и Лохвицкую и исчез за дверьми кабинета с докладом. Два окна приемной выходили на небольшую площадь. Марин увидел белокаменную колоннаду с классическим антаблементом, за ней синело совсем близкое море, на рейде дымило множество кораблей. День выдался яркий, солнечный, тихий, словно не было никакой войны и все эти люди, идущие по своим делам, там, внизу, ни малейшего представления не имели ни о красных, ни о белых и жили не в Крыму 1920 года, а еще в том, довоенном — с оркестрами, танцами и вечерами модных поэтов.

— Прошу, генерал ждет,— адъютант распахнул створки нарядных дверей, отошел в сторону и щелкнул каблуками.

Климович сидел за большим двухтумбовым столом, лицо у него было невыразительное, стертое, старообразное, только глаза под тяжелыми веками остро сверкнули, когда он поднял голову навстречу вошедшим. На вид ему было далеко за пятьдесят, лоб пересекал выпуклый шрам.

— Ваше превосходительство! Позвольте представить вам моего спасителя,— улыбнулась Лохвицкая.

— Рад видеть вас живой и невредимой, сударыня,— дружелюбно улыбнулся Климович и вышел из-за стола.— Как добрались, полковник?

— Не без приключений,— Марин отметил легкий польский акцент.— Буду счастлив продолжить службу под вашим руководством, ваше превосходительство.

— Прошу садиться, господа.— Климович подал пример.— Я благодарен Павлу Григорьевичу Курлову

за то, что он не отказал нам и разыскал вас. Отзывы о вас самые лестные, полковник. Сожалею, что в прошлом нам не довелось работать вместе, Владимир Александрович.

— Я тоже сожалею об этом, Евгений Константинович,— пользуясь тем, что Климович обратился к нему по имени, Марин закурил.— Думаю, что будь мы вместе в прошлом, не было бы настоящего.— Он улыбнулся и пустил к потолку серию колец.

Климович рассмеялся:

— Юмор— это прекрасно. Вам предстоит нелегкая работа, полковник, агентуру красных вылавливаем каждый день. У них налажена связь, оптическая, между прочим, тоже. Вовсю работает так называемый Крымский областком. А в общем, приступайте. Мы хотим полностью использовать ваш опыт в борьбе с внутренним врагом. Помнится, вы специализировались на этом в особом отделе департамента?

— Так точно! — Марин встал.— Ваше превосходительство, один вопрос.

— Прошу.

— Мне известна ваша точка зрения на так называемую провокацию. Вы циркулярно запретили секретным сотрудникам активное участие в деятельности революционных организаций. Между тем, если агент не будет вовлекать свое окружение в революционную работу и вовлекать активно, он не сможет находиться в центре событий. И тогда — грош ему цена,— горячо сказал Марин.

— Я согласна,— кивнула Лохвицкая.

Климович улыбнулся:

— О каком циркуляре вы изволите говорить?

— О последнем, за 16-й год. Вы были тогда директором департамента полиции. Я тогда же обратился с рапортом на ваше имя. Я был против этого циркуляра.

— Забудьте о нем. Он дан законным порядком при законном правительстве. Сегодня мы ведем схватку с узурпатором, смертельную схватку. Сегодня мы обязаны инструктировать своих агентов так: «Ликвидация преступного гнезда — любой ценой. Цель оправдывает средства, поэтому все средства хороши, лю-

бые». Вы меня поняли, Владимир Александрович?

— Как нельзя лучше, Евгений Константинович. От души рад, что наша беседа прошла так успешно. Я извещу Маклакова и Петра Бернгардовича Струве. Разрешите откланяться?

— Мы едем вместе. В Адмиралтейском соборе служба, главнокомандующий там. Он с нетерпением ожидает встречи с вами и нашей милейшей Зинаидой Павловной.

— Я всегда ценила добрые чувства барона,— сказала Лохвицкая.

Марину не понравилось это «с нетерпеньем ожидает». С какой стати, подумал он, Врангелю ожидать его, Марина, «с нетерпеньем»? К тому же настроение было резко испорчено тем, что роль, которую отвел ему в системе контрразведки Климович, была мизерной, ничтожной. Назывался он громко — «помощник начальника контрразведывательного отделения при штабе Правителя юга России и главнокомандующего вооруженными силами». На самом же деле ему в целях проверки, возможно, предназначали пока должность всего лишь начальника местной охранки. Он должен был вылавливать подпольщиков и вообще противников режима. Конечно, это тоже давало ряд преимуществ, но совсем не тех, на которые рассчитывало руководство ВЧК и командование Красной Армии.

— Я буду счастлив представиться его превосходительству,— поклонился Марин и вдруг перехватил удивленный взгляд Климовича.

— Как «представиться»? — улыбнулся Климович.— Вы, вероятно, хотели сказать «возобновить знакомство»? Ведь Петр Николаевич в декабре 1916 года служил в Кишиневе и часто бывал у вас в доме. Он с таким удовольствием вспоминал об этих последних светлых днях... Мы только вчера говорили...— Климович явно ждал объяснений.

А Марин улыбался, глаза его сияли от счастья, а внутри... была пустота. Вот оно, это «маленькое обстоятельство», «деталь», о которой говорил в последнюю ночь Крупенский. Да-а, никто этого не предусмотрел... И не мог предусмотреть, даже Артузов, даже сам

Дзержинский не подумал о том, что нужно было просмотреть послужной список Врангеля. А-а, чепуха какая! Врангеля, Климовича, еще кого? Десятков генералов и офицеров, да и где взять эти списки — где архивы, где что? Работа для мирного времени, а не для пика гражданской войны. Что ж, кажется, попал в капкан новоиспеченный «помощник начальника» и выхода нет. На окнах решетки, не выпрыгнешь, а и выпрыгнешь, далеко ли уйдешь?

— Я... буду счастлив именно представиться его превосходительству,— с очаровательной улыбкой повторил Марин.— Здесь какое-то недоразумение. Я никогда не встречался с Петром Николаевичем, и он не мог видеть меня раньше. Ручаюсь.

Зинаида Павловна смотрела с плохо скрытой тревогой, и Марин широко улыбнулся ей в ответ.

— Собор совсем рядом. Мы будем там через две минуты,— сухо сказал Климович.— Прошу.

В Адмиралтейском соборе царил вечный сумрак. Сухо потрескивали свечи, плотной стеной стояли молящиеся, хорошо одетые женщины и офицеры, только у выхода теснилась небольшая группа людей, по виду — мастеровые, с портового завода. Было душно, смрадно, пламя свечей колебалось, над толпой разливался густой бас протодьякона:

— Вору и изменнику, клятвопреступнику Стеньке Разину-у-у...

Протодьякон пророкотал весь чин анафемы и опустил зажженную свечу пламенем вниз и заревел так, что погасло сразу несколько свечей в ближайшем шандале. Он предавал проклятью «убийцу и изменника Стеньку».

Перед Климовичем, Мариным и Лохвицкой расступались и пропускали их вперед. Марин увидел конвойцев и за ними слегка сутулую спину Врангеля. На нем была парадная белая черкеска. А протодьякон продолжал реветь, придавая анафеме злоумышленников, поднявших руку на «православного государя» и «помазанника божия» и «злодеев, умертвивших его».

— Он похож на репинского протодьякона из Чу-

гуева,— шепнул Марин Лохвицкой и показал глазами на дородного священнослужителя.

Лохвицкая с трудом сдержала улыбку и приложила палец к губам.

— А-а-на-фема...— Опущенная свеча затрещала и погасла. По собору пронесся вздох.— Не принимает господь наших проклятий, не принимает,— услышал Марин всеобщий ропот.

Врангель повернулся, конвойцы бросились вперед и образовали неширокий коридор. Врангель двинулся по этому коридору, отвечая на приветствия, улыбаясь направо и налево. Его сопровождали молодой генерал в простой гимнастерке и старик в сюртуке при галстуке. Марин узнал «наштаглава» Шатилова и премьера правительства Кривошеина. Но вот Врангель заметил Климовича, дружески кивнул ему, приглашая следовать за собой. На паперти Врангель остановился, прицепил кинжал. Офицеры крестились и надевали фуражки.

— Ваше превосходительство,— подошел к нему Климович,— сердечно рад представить вам,— он пропустил вперед Лохвицкую и Марина.

Врангель был высок, широкоплеч, с узкой талией и слегка кривыми ногами прирожденного кавалериста. Парадная белая черкеска с серебряными газырями и кинжалом на поясе подчеркивала моложавость главнокомандующего, на шее у него висел боевой крест Владимира с мечами, над газырями — белый офицерский Георгий четвертого класса. Врангель протянул руку Лохвицкой:

— Очень рад, сударыня. Вы целы, невредимы и, как всегда, прекрасны.

— Благодарю, ваше превосходительство, — улыбнулась Лохвицкая.— Господин Крупенский — мой спаситель.— Она отступила на шаг.

Врангель несколько мгновений пристально вглядывался в лицо Марина, взгляд у правителя был цепкий, острый, но было в нем и нечто такое, что Марин поначалу не уловил. Он очень волновался и ждал, что вот сейчас Врангель заговорит и первыми его словами будут «конвой, арестовать».

— Как поживает Александр Петрович? — вдруг спросил Врангель.



И Марин сразу же заметил то, что поначалу от него ускользнуло: в глазах Врангеля — слегка навыкате, «волчьих», как говорили в его окружении,— была самая обыкновенная доброжелательность.

— Отец умер на пути к Новороссийску,— глухо сказал Марин.— Я оставил гроб с его телом у причала, ваше превосходительство.

— Какой ужас! — искренне покачал головой Врангель.— Ваш батюшка тогда, в Кишиневе, так радушно принимал нас, был так гостеприимен, царствие ему небесное...— он перекрестился.

Все перекрестились вслед за ним. Марин бросил взгляд на Климовича и почувствовал, что у генерала явно отлегло от сердца.

— А я-то думал, что мы с вами знакомы,— улыбнулся Врангель.— У Александра Петровича три сына, не ошибаюсь?

— Я четвертый,— сказал Марин.— К сожалению, в 16-м году мы с вами разминулись, ваше превосходительство. Я был в Петербурге. Мы помогали военным организовывать в контрразведке специальную службу.

— Что это такое?

— Развертывание агентурной сети в посольствах, фотографирование документов, кодов, шифров, служба перлюстрации.

Врангель с интересом посмотрел на Марина. Было видно, что новый помощник Климовича ему понравился.

— Прошу в мой автомобиль, господа,— пригласил Врангель.

У него был большой «роллс-ройс». Кривошеин, Шатилов и Климович поехали в изрядно потертом «даймлере». Позади скакал конвой.

«Итак, — думал Марин, покачиваясь рядом с Лохвицкой на заднем сиденье,— это не проверка, это просто недоразумение, на которое очень рассчитывал мой покойный друг. Он надеялся, что я растеряюсь, а я не растерялся. Ай да мы... — Марин представил себе строгое лицо Менжинского и рядом насмешливые глаза Артузова. «Ай да мы? — с недоумением повторил Менжинский. — Артур Христианович,

зачем мы послали этого самонадеянного человека? — Артузов молча пожал плечами.— Он думает, что оседлал самого бога»,— насмешливо продолжал Менжинский. «Нет, не оседлал. Наивно! Проверки еще только предстоят,— кивнул Артузов.— Их будет много, готовься к ним, Сережа. На лаврах почивать еще не время». Лавры — «опосля», как говорит наша уборщица, тетя Даша».

— Как вы находите Севастополь? — услышал он голос Лохвицкой. Она дотронулась до его руки и ждала ответа.

— Кинематографы работают,— улыбнулся Марин.— Магазины — тоже. Люди хорошо одеты и веселы. Знаете, все это нужно распространить на остальную Россию.— Он помолчал и добавил: — Я видел этюд Константина Коровина: севастопольская улица, уходящая по диагонали вдоль холста. Распустились деревья, синеет небо, на балконе двое, разговаривают о чем-то. Внизу медленно цокает экипаж. Знаете, у того Севастополя, на этюде, было будущее.

— А у этого? — помедлив, спросила она.

Он не ответил. Навстречу кортежу с ужасающим грохотом двигались два танка. Внезапно передний закрутился на одном месте и замер, перегородив путь. У него сползла гусеница. Остановились. Врангель вышел из автомобиля, ладонью постучал по броне танка. Над люком появился офицер в кожаной куртке и доложил:

— Ваше превосходительство, мы направляемся из ремонта на фронт.

— А это почему? — Врангель ткнул в распластавшуюся на булыге гусеницу.

— Техника изношена,— смутился офицер.— Простите, ваше превосходительство, машины идут не на бензине.

— На чем же?

— На верности офицеров, ваше превосходительство.

С танка спрыгнул и вытянулся второй офицер:

— Поручик Власов, ваше превосходительство. У меня другая точка зрения.

Подошел Климович. По его лицу можно было понять, что ему заранее известно все, что сейчас произойдет.

— Ремонт танков, броневиков и аэропланов организован в портовом заводе,— продолжал Власов,— а это — гнездо большевиков. Мы благодарим бога, что наши танки самопроизвольно не взрываются во время атак.

— Хорошо, господа,— сказал Врангель,— отремонтируйте танк и следуйте по маршруту. Мы примем меры.

Танкисты откозыряли, конвойцы развернули танк и освободили проезд.

— Вот вам прекрасный повод, чтобы вступить в должность. Прошу вас, Владимир Александрович, соблаговолите проехать в портовый завод, где уже работает полковник Скуратов,— сказал Климович.

— Конечно,— Марин щелкнул каблуками.— Еду немедленно.

Врангель сел рядом с шофером:

— Вряд ли только это такой «прекрасный повод».

— Виноват,— покраснел Климович.— Я не в этом смысле, ваше превосходительство. Я хотел предложить полковнику Крупенскому принять в портовом заводе самые жесткие меры!

— Вот именно, Евгений Константинович, вот именно,— оживился Врангель.— Всеобщая расхлябанность, равнодушие... Установите виновных и предайте военно-полевому суду.

Навстречу шла рота солдат, у них были равнодушно землистые лица и грязное изорванное обмундирование. Врангель проводил роту мрачным взглядом и сказал задумчиво и горько:

— Иногда мне кажется, что эти люди не понимают ни наших целей, ни нас самих.

— Русский человек должен быть сыт, обут, одет и нос в табаке,— сказал Климович.— Это первое и главное условие «понимания», ваше превосходительство.

— Не-ет,— покачал головой Врангель.— Нет. Там, у красных, большинство голодно и раздето, их

семьи в тылу тоже голодают, а они пляшут, поют, кричат «ура!». У них в окопах не смолкает гармошка. Что вы об этом думаете, Владимир Александрович?

— Все имеет свой предел, ваше превосходительство. Войска устали. Конечная цель, которую провозгласил еще Лавр Георгиевич Корнилов, нереальна. Финал очевиден. Я не считаю, что имеет место непонимание. Я убежден, что наступило равнодушие, а это — клиническая смерть.

Врангель посмотрел Марину прямо в глаза. Взгляд его был цепкий, проникающий. Марин с трудом его выдержал.

— Благодарю,— сказал Врангель. — Вы отказали мне в лицемерной поддержке. Что ж... Сейчас рядом с нами все меньше и меньше честных людей. Господа, вы свободны.

Автомобиль с Врангелем уехал, следом уехал и «даймлер», ускакал конвой.

— Зря вы так,— помолчав, сказал Климович.— Ему очень трудно...

— А я согласна с Владимиром Александровичем,— сказала Лохвицкая.— Мы лицемерно охаем и ахаем, но разве от этого двигается дело? Кому, как не свежему, новому человеку, сказать, наконец, правду?

— Возможно, вы и правы,— пожал плечами Климович.— Господа, в гостинице «Кист» вам отведены два номера. Не отлучайтесь, вы мне понадобитесь.— Климович откозырял.— Пройдусь пешком, воздухом подышу, по-стариковски.

Вечером к Климовичу явился адъютант Врангеля и попросил от имени главнокомандующего незамедлительно прибыть в ставку. Она находилась в бывшем особняке великого князя Алексея Александровича Романова, генерал-адмирала флота, вертопраха и дамского угодника. Алексея давно уже не было в живых, теперь в уютных комнатах его бывшей резиденции располагался Врангель со своей семьей.

Адъютант провел Климовича в кабинет. Главнокомандующий стоял у большой карты Крыма с прилега-

ющими областями и что-то вычерчивал красным карандашом.

— Все очень и очень печально, Евгений Константинович.— Врангель положил карандаш и сел.— Мы превосходим красных в маневре, на основных операционных направлениях мы даем им фору. Но... у нас 32 тысячи бойцов, у них — сто тысяч. Они давят нас числом, фанатизмом, какой-то исступленной верой. Я всерьез начинаю думать, что марксизм — это религия и она намного сильнее и христианства и магометанства, вместе взятых.

— Коммунистам служат и христиане, и магометане, и иудеи,— сказал Климович.— И неверующие тоже. Помните, как у Блока? «Их тьмы, и тьмы, и тьмы, попробуйте сразитесь с ними».

— Мы, кажется, попробовали,— тихо сказал Врангель.— Что говорят о нашем руководстве, Евгений Константинович?

— Петр Николаевич, армия предана вам, вам верят, вас боготворят... Я не лукавый царедворец и лгать мне незачем. Если желаете, полистайте агентурные сводки общественного мнения. Все знают: Деникин вас не оценил и, вопреки мнению большинства командующих, уволил. Вы могли оставаться за русскими рубежами, что вам мешало? Но вы вернулись в Крым... Не славы искать, а разделить с армией ее участь.

— Благодарю,— Врангель отвернулся, и было видно, что он с трудом сдерживает волнение.— Вам понравился Крупенский?

— Чисто по-человечески он производит приятное впечатление,— сказал Климович.— Остальное станет ясно позднее. Вас что-то беспокоит?

Врангель заколебался:

— В конце концов, вы мой начальник контрразведки. Кому, как не вам... Как среагировал Крупенский на то, что я знаком с его семейством?

— Вначале обрадовался, а потом, когда узнал, что вы вспоминали о ваших с ним встречах, очень удивился, сказал, что этого не могло быть. Он в это время находился в Петербурге. Да вы слышали...

— Слышал. Он не испугался, не был подавлен, взволнован?

— Подавлен? Нет! Взволнован? Не более чем вызывалось обстоятельствами. По-моему, я начинаю понимать ваши вопросы.

— Евгений Константинович, я действительно ошибся,— сказал Врангель.— Я был знаком со старшим сыном Крупенских. Но дело в другом. Однажды Крупенские показали мне семейные реликвии. Я, к сожалению, не мог уделить им достаточного внимания: моя дивизия стояла в 18 верстах от Кишинева, в господском дворе Ханко. Я должен был торопиться, чтобы успеть к вечерней поверке. Я никогда ее не пропускал, чтобы сдерживать людей: началось дезертирство. Так вот, среди прочего я увидел книгу — юбилейное издание Академии художеств за двести лет. Там на групповой фотографии был и младший Крупенский.

— И что же? — напрягся Климович.

Врангель долго молчал.

— Я заранее прошу вас, генерал,— начал он строго,— никаких поспешных выводов из моих слов не делать. Я не могу поручиться. С тех пор четыре года прошло, да и видел я это фото мельком и изображено на нем человек 30—40, но помнится мне, Владимир Крупенский выглядел иначе, нежели теперь.

— Он был моложе, ваше превосходительство,— осторожно подсказал Климович.— Одиннадцать лет — не шутка.

— Вы стараетесь быть объективным. Это хорошо,— обрадовался Врангель.— У нас мало знающих, толковых людей. Я — не Грозный, вы — не Малюта Скуратов, другие времена, генерал. Мы не можем позволить себе роскошь подозрительности, но и чрезмерного доверия тоже. Примите меры.

— Слушаюсь. Вам угодно высказать свои соображения?

— Связаться с Кишиневом теперь — безнадежная затея,— сказал Врангель.— Попытайтесь разыскать это юбилейное издание здесь. Направьте запрос Маклакову и Струве. Пусть они пришлют фотографию Крупенского. Запросите по радио его приметы. По-моему, достаточно.

— Если не возражаете, я кое-что дополню,— улыбнулся Климович.— В портовом заводе следствие

уже закончено. Начальник мастерских штабс-капитан Воронков и двое рабочих предаются военно-полевому суду. Я полагаю — Крупенскому, да и Лохвицкой, нелишне будет встряхнуться.

— Догадываюсь,— сказал Врангель.— Что говорить, это жестоко, но...— он развел руками.— У нас с вами тоже жестокая необходимость. Не правда ли? Кто вел следствие?

— Полковник Скуратов, ваше превосходительство. Это тот самый, знаменитый...

— «Молотобоец»? — оживился Врангель.— Как же, как же... Я помню... Как вы его оцениваете?

— Преданнейший офицер, ваше превосходительство.

— Палач? — Врангель смотрел, не мигая.— Палач и преданность... Вряд ли это совместимо, Евгений Константинович...

— Во все времена,— кивнул Климович,— кроме революции и гражданской войны. Ныне только палачи надежны, Петр Николаевич...

По воле случая или генерала Климовича номера Лохвицкой и Марина в гостинице «Кист» оказались напротив друг друга, дверь в дверь. Портье выдал им ключи и проводил до этажа. Потом оглядел понимающим взором и сказал, пряча ухмылку:

— Желаю господам, как принято говорить, спокойной ночи.

Марин открыл дверь своего номера сразу, а у Лохвицкой ничего не получилось. Видимо, что-то случилось с замком.

— Я помогу вам,— Марин профессионально раскачал ключ, нашел нужную позицию и повернул. Дверь открылась.

— Я наблюдала, как вы работали тогда, в Харькове...— сказала Зинаида Павловна.— И вот теперь. Похоже, вы домушник-профессионал?

Он рассмеялся:

— Всего лишь бывший жандармский офицер. Увы! Чему не научишься, вылавливая революционеров. Я хотел сказать вам...

— Я тоже,— перебила она, опуская глаза.— Владимир Александрович, то, что произошло тогда, там, в Харькове... Обещайте мне никогда не настаивать. Мне очень трудно вам объяснить, и мне не хочется ничего объяснять. Простите меня.

— Я хотел вам сказать,— повторил он холодно,— слово в слово то же самое. Вы опередили меня. Вы правы. Я понимаю ваши чувства, потому что сам испытываю такие же. Знаете, пройдет время, и все придет само собой.

— Или не придет...— она выдержала его взгляд.— И закончим на этом. Тягостный разговор. Я не хочу его продолжать. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

До утра Марин так и не сомкнул глаз. Он понимал, что по логике сложившихся взаимоотношений он должен был разговаривать иначе, нужно было дать ей возможность отвергнуть его и потом горячо протестовать, переживать, бесноваться, наконец, но какое-то внутреннее чувство подсказало ему иную линию поведения. Он остался самим собой и действовал и говорил так, как диктовали ему разум и сердце. Почему-то ему представлялось, что с такой женщиной, как Лохвицкая, не стоило вести себя иначе. Что случилось, то случилось. Но случившееся не было интрижкой, не было прагматическим ходом, оно было движением души, которому, наверное, можно было не подчиниться, но он подчинился и не жалел об этом.

Лохвицкая тоже не спала и тоже размышляла. Поступок Марина ее поразил. Она была уверена, что он будет рваться к ней, настаивать и в конце концов смертельно обидится отказом. Она даже ловила себя на мысли, что будь его реакция на отказ слишком бурной, она бы уступила ему — и вдруг холодные глаза, холодные слова... Что же? Он просто-напросто хам, прыщавый гимназист с сединой, который добивался своего, а добившись, отвернулся или сделал вид, что не знаком? Неужели она так ошиблась в нем? Ох, как она хотела так думать, как она заставляла себя так думать, но не могла... Что-то в его пусть холодных глазах и что-то в его пусть равнодушном голосе подсказывало ей, что все — игра, но от-

нюдь не та, которую начинают, исходя из принципа: «чем меньше женщину мы любим». В этой его игре было что-то совсем другое и, как ни странно, очень искреннее, щемящее, тревожное. А может, вовсе это и не игра была. Она уснула под утро, так и не разобравшись ни в чем.

После побега Марина и расстрела Рюна Зотов убедил руководство ВЧК, что наиболее разумно направить в Севастополь на связь к Марину именно его, Зотова. Он благополучно перешел линию фронта. В Севастополе он застал удручающую картину разгромленного, почти полностью уничтоженного врангелевской контрразведкой подполья. Все курьеры, направленные центром в областком, были выловлены и расстреляны. Огромные денежные средства в романовских рублях и валюте были полностью утрачены. Областком перестал существовать. Всего же Климовичу удалось арестовать 150 человек, среди них были активисты, боевая сеть руководителей. В течение недели Зотов с трудом собирал оставшихся, налаживал работу, конечно, далеко не в прежних масштабах. Центром саботажа и диверсий стал портовый завод. Теперь ремонт танков, броневиков и аэропланов шел медленно, ненадежно. Это ослабляло боеспособность врангелевской армии. Окрыленный Зотов наращивал усилия, но внезапно последовал новый, крайне неожиданный удар контрразведки.

Люди Климовича арестовали начальника ремонтных мастерских капитана Воронкова и двух слесарей-сборщиков: Гаркуна и Ярошенкова. Дело, конечно, было не в Воронкове. Его арест Зотов считал простым недоразумением. Но Гаркун и Ярошенков состояли в штабе подполья, знали всех наперечет, и что было самым главным: Гаркун боялся боли. Зотов настолько поразился, что, выслушав новость, сообщенную на очередной встрече со связником, долго молчал, не в силах вымолвить ни слова.

— Борис Михайлович,— сказал он наконец,— об этом, друг, надо заранее предупреждать.

Хозяин конспиративной квартиры Борис Михайлович Акодис только хмыкнул:

— Вот в следующий раз я, имея нынешний опыт, все буду говорить заранее. Я, между прочим, недоучившийся художник и плохой коммерсант, а всем этим подпольным делам я не учился сроду. Так что вы от меня хотите?

Зотов ничего от него не хотел. В конце концов, отбирая новых людей в штаб, он должен был их всесторонне проверить, он, а не Борис Михайлович, и спрос поэтому не с него. Теперь же нужно было искать выход. Подсказал его Борис Михайлович:

— Пришел в Севастополь человек, о котором вы меня предупреждали?

— Пришел,— кивнул Зотов.— Я видел его около гостиницы «Кист».

— Он служит в контрразведке? Как вы и надеялись?

Зотов подумал было, что излишне распустил язык. Акодису совсем не полагалось знать, где и кем служит Марин, но что сделано, того не вернешь:

— Служит,— кивнул Зотов.

— Пусть попытается что-нибудь сделать,— сказал Акодис,— если еще не поздно.

На следующий день была среда. Марин облачился в новенькую офицерскую форму, только что доставленную со склада, посмотрел в зеркало. Перед ним стоял немолодой уже, но отчаянно бравый подполковник с усталым лицом завсегдатая ночных кабаре. Марин спустился в ресторан и заказал обед. В ожидании, пока официант принесет водку и закуску, он рассеянно слушал музыку: оркестр исполнял какое-то душераздирающее танго. Потом оркестр смолк, и на эстраду вышла певица.

— Исполнительница старинных народных песен и романсов, чудом спасшаяся из большевистского ада, всеми нами горячо любимая Надежда Васильевна Плевицкая,— под гром аплодисментов объявил конферансье.

Марин никогда ее раньше не видел и не слышал. Как-то не пришлось. Она была «звездой» дореволюционной эстрады, чуть-чуть со скандальным оттенком —

слишком уж полярно расходились мнения о ней в прессе «правой», бульварной, и прессе демократической. Она была смелая женщина, не раз певала императорской семье и сановникам «Когда на Сибири займется заря» и другие весьма сомнительные песни низов.

Все это Марин знал из газет, да вот видел и слышал певицу впервые. Было ей далеко за тридцать. Она излишне располнела и слегка обрюзгла, но была все еще очень красива. Поклонившись рукоплещущим офицерам, она запела под аккомпанемент двух гитар: «Замело тебя снегом, Россия, закружило холодной пургой, и печальные ветры степные панихиды поют над тобой». Рыдали гитары, в лице Плевицкой вдруг явственно проступило совсем не наигранное отчаяние и отрешенность. Марин оглянулся. Многие в зале плакали, не скрывая слез. Эта черноволосая, черноглазая, с широкими скулами и едва заметно вывернутыми ноздрями, эта в общем не очень-то и русская внешне женщина, скорее полутатарка, в пении была такая щемяще российская, такая национально-самобытная, что Марин, никогда не страдавший ни русофильством, ни квасным патриотизмом, вдруг ощутил себя до мозга костей русским... Странно было ему, большевику, здесь, в ресторане, среди пьяных белогвардейцев даже думать об этом, а он думал — с болью, страданием, с томительным предчувствием грядущей печали... Так она пела, Плевицкая, так покоряла всех, кто слышал ее.

К столику подошел подпоручик, щегольски затянутый в новенькие скрипящие ремни.

— Господин подполковник, не возражаете?

Марин поднял глаза и чуть не поперхнулся. Перед ним стоял Зотов с удивительно противным, каким-то лакейским выражением на довольно красивом лице.

«Этого еще недоставало,— с раздражением подумал Марин.— Мало мне было тех, на фронте. Там «сказывают», а здесь...» — он вяло махнул рукой.

— Валяйте, поручик...— Дождался, пока Зотов не слишком ловко сел, и добавил: — Я вот вас не «под»,

а поручиком назвал. И вы меня извольте тоже без этого «под», ясно?

— Так точно,— сверкнул белыми зубами Зотов.— Всего сразу не усвоишь, господин полковник. Я военного призыва, не кадровый,— объяснил он на всякий случай.— Да и нужда велика: в портовом заводе взяли двоих: одного фамилия Гаркун, запомнили? Их сегодня будут судить и, наверное, приговорят к расстрелу. Только выходит неувязка...

— Короче и яснее,— приказал Марин.— Вы исходите потоком слов.

— Виноват,— снова улыбнулся Зотов.— Имеем сведения: из суда их возьмут к вам, в «Кист», пытать. Гаркун не выдержит. Придумайте что-нибудь. Встретиться можем в любое время на Таможенной, 21, магазин художественных принадлежностей. Хозяин — наш человек — Борис Михайлович.

— Сделаю, что смогу,— сказал Марин.— Передайте в Москву: доверия ко мне нет, вероятны проверки, пусть подумают, как доставить сюда известную им книгу.— Марин сузил глаза, хмуро покачал головой.— Сюда больше не приходите, вас может опознать Лохвицкая.

— Исключено,— уверенно произнес Зотов.— С усами, в этой форме... Меня свои, знакомые, вблизи не узнают.

Зотов встал:

— Приятно было побеседовать с вами, полковник.— Он четко повернулся налево кругом и зашагал к выходу.

Навстречу ему шла Лохвицкая. Она скользнула по нему равнодушным взглядом и подошла к Марину:

— Вы уже заказали?

— Да.— Марин встал и пододвинул ей стул.— Я сейчас позову официанта, и мы...

— Не нужно,— перебила она.— Я от генерала, мне и вам приказано присутствовать на суде над этими рабочими и офицером... Из портового завода.

— Зачем?

Она сузила глаза:

— Вы спрашиваете меня? Пути начальства неисповедимы, это все, что я могу вам сказать. Кто

этот офицер, который только что отошел от вашего стола?

— Офицер? — Марин силился сообразить, что ей нужно и что она успела заметить.— Ах, этот поручик? А черт его знает, пристал по поводу Плевицкой, ему безумно понравилась.

— Странный какой-то,— задумчиво сказала Лохвицкая.— Но — хам!

— Почему?

— А почему вы и все остальные носите белые манжеты?

«Черт! — сообразил Марин.— Ну что за идиот этот Зотов! Какая непростительная беспечность. Неужели мы никогда не перестанем думать, что мы самые умные, а вокруг нас одни дураки?»

— В самом деле,— улыбнулся Марин,— я тоже обратил внимание. Я полагаю, он из студентов или техников. Не кадровый, одним словом.

— Возможно.— Она уже думала о другом.— Идемте. Нас должны видеть в зале суда.

Суд происходил в морском офицерском собрании. Когда Марин и Лохвицкая вошли, капитан Воронков произносил последнее слово. Он был еще в форме, с погонами, лет тридцати, с аккуратно подстриженными усиками, типичный служака, посвятивший всю свою жизнь армии — с кадетского корпуса. Тем невероятнее казалось то, о чем он теперь говорил, внешне спокойно, почти равнодушно.

— Я верил,— говорил он,— я был убежден, что долг каждого русского офицера до конца отстаивать былое величие России. Растоптанная, преданная, поруганная... Я и рабочие мастерских — простые русские люди, делали все, чтобы вовремя отремонтированные боевые машины били врага на фронте. Нам мешали: расхлябанность, неразбериха, нераспорядительность, потом вражеская агентура. Убога наша контрразведка, она сцапала первых попавшихся, решила пожертвовать и мною, единственным инженером, и только для того, чтобы так называемые союзники видели, что у нас здесь все нелицеприятно, никого не покрывают, не взирают на лица. А ведь на самом деле все случившееся означает только одно: агонию. Когда свирепст-

вуют розыскные органы, когда некому их одернуть и остановить — тогда конец. Я жалею об одном: я был слеп. Возможно, уже давно следовало разобраться в том, кто же такие эти большевики на самом деле. У меня всё.

Суд удалился на совещание. Около барьера, на котором сидели подсудимые под конвоем солдат с примкнутыми штыками, теперь теснились родственники. Марин увидел совсем еще молодую женщину с двумя мальчиками в потертых гимназических мундирчиках и догадался, что это жена и дети Воронкова. Он посмотрел на Зинаиду Павловну, стараясь поймать ее взгляд и понять, что же она обо всем этом думает, но она отвернулась. Зал был почти пуст. Публику не пустили. В первом ряду развалилось несколько офицеров, среди них Марин узнал Зотова и разозлился на него. Зотов не выполнил его просьбу и очень рисковал, и не только тем, что из-под обшлагов его новенького кителя не выглядывали, как положено, на два пальца белые манжеты рубашки. В любую минуту к нему мог пристать с разговором кто-нибудь из настоящих офицеров, и тогда... Кроме того, Марин не слишком поверил в то, что Зотов теперь так уж неузнаваем.

Вышли судьи. Марин понял, что приговор они давно уже приготовили и теперь отсутствовали несколько минут только ради соблюдения приличий. Приговор он не слушал: все было абсолютно ясно заранее. Он только с острым любопытством следил за лицами подсудимых. Воронков встретил заключительные слова о расстреле совершенно спокойно, только улыбнулся жене и сыновьям, а Гаркун сел и хватал побелевшими губами воздух. И Марину стало ясно, что опасения подпольщиков далеко не напрасны. Гаркуна не успели еще взять в работу, но если это произойдет... Второй рабочий наклонился к уху Воронкова и что-то сказал, оба рассмеялись. Офицеры переглядывались и пожимали плечами. Приговор был явно надуманный и необоснованный. Осужденных увели. Марин тронул Зинаиду Павловну за руку:

— Идемте?

— Мы должны остаться.

— Не понял?

— Видите ли... — она подыскивала слова.— Мы ведь вернулись от красных, не так ли?

— Ну и что? — он все еще не понимал.

— Нам поручено,— с трудом начала она,— привести в исполнение приговор. Расстрелять... этих изменников,— с нарочитой бодростью закончила она.— И молите бога, чтобы только этим и ограничилось,— туманно добавила Лохвицкая,— чтобы все кончилось без эксцессов.

— Изменников? — повторил он, отчетливо понимая, что она ничего не выдумала, что так все и есть и менее чем через час ему придется скомандовать «Пли!» полувзводу исполнителей, и два его товарища рухнут под этим залпом, два его товарища и совершенно ни в чем не повинный офицер, отец двоих детей и вполне порядочный человек, совершенно случайно оказавшийся на стороне белых. Как же поступить? И имеет ли он право на это раздумье? Так. Прежде всего, что происходит? Случайность? Нет. Она же сказала: «Мы вернулись от красных». Итак, проверка. Убьет — свой, не убьет — чужой. Примитивно, просто, но надежно. Верно мыслит Климович: не родился еще на свет большевик, если он действительно большевик, который смог бы ради любой, ради самой святой цели действовать методом иезуитов, палачей и предателей и вообще методом недостойным. Что же, выходит, он, Марин, станет первым таким, станет отщепенцем. Потом все это спишется ради тех сведений, которые он добудет, ради тех жизней, которые с помощью этих сведений будут спасены, а его рухнувшие идеалы, его совесть — это все останется при нем. Дело есть дело, его надо делать и нечего разговоры разговаривать, выдумывать, страдать. Иуда предал Христа, деньги получил и повесился. А-а-а... голова сейчас лопнет к чертовой матери. В конце концов, просьба Зотова нереальна, спасти этих людей он не может. Марин вдруг почувствовал, что у него взмокла спина. А надо ли их спасать? Мысль эта была настолько дикой, что он ужаснулся. Нет, бред какой-то. И тут же вспомнил фразу, которую обронила Лохвицкая: «Дай бог, чтобы все было, как всегда, без эксцессов». Что она имела в виду?

— По-моему, это свинство,— сказал Марин, не скрывая возмущения.

— По-моему, тоже.— Лохвицкая была явно не в своей тарелке.— А что делать? Убежим к красным?

— Вот что,— он взял ее за руку и усадил рядом с собой.— Расстреливать этих людей я не буду.

— Вы хорошо подумали? — у нее был напряженный голос, испуганные глаза, но Марину показалось на мгновение, что она обрадовалась его словам.

— Это не моя профессия,— продолжал Марин.— Меня учили держать в руке кисть, различать цвет и тон, растирать краски. Потом волею судьбы я вылавливал революционеров. Палачом я не был никогда.

— Сейчас мы поедем на место исполнения приговора,— сказала Лохвицкая,— это за городом, достаточно далеко. У вас еще будет время одуматься, Владимир Александрович.

Они вышли во двор. Конвой подвел осужденных к большому грузовому автомобилю с крытым кузовом. У рабочих руки были связаны, Воронков шел свободно. На его кителе больше не было золотых погон. У выхода, теснимые конвойными солдатами, голосили какие-то женщины в простой одежде, вероятно жены рабочих. Жена Воронкова и его сыновья молча стояли на ступеньках, не смея подойти ближе.

— Фельдфебель,— крикнула Лохвицкая.

Подбежал пузатый унтер — единственный среди всего конвоя вооруженный револьвером и шашкой.

— Мадамочка?

— Пусть прощаются, не препятствуйте,— сказала Лохвицкая.

— Не положено,— засомневался фельдфебель, ища поддержки у Марина.

— Что же ты, братец, уж и не человек совсем? — тихо спросил Марин.— Сердце-то у тебя есть?

Фельдфебель махнул рукой:

— Э-э, будь по-вашему. Давай, бабы, голоси,—

крикнул он родственникам осужденных. Они хлынули к автомобилю неудержимой волной.

В дверях появились дипломаты. Француз рассматривал происходящее в лорнет и о чем-то переговаривался с японцем и англичанином. Внезапно все засмеялись.

— Он говорит, что у русских совершенно дикие нравы,— перевела Лохвицкая.— Они рыдают по еще живым и едят на могилах. Все наоборот! — она бросила в сторону дипломатов яростный взгляд.— Я прикажу их вышвырнуть отсюда!

Француз перехватил ее взгляд, сказал с улыбкой:

— Мадам напрасно нервничает. Мы имеем разрешение барона присутствовать даже при казни. Но мы не поедем. Теперь не средние века, во всяком случае у нас, в Европе.

— Ублюдок,— сказала Лохвицкая сквозь зубы.— Знаете, а он вправе издеваться над нами. Все предано и продано...

Подошла какая-то старуха.

— Спасибо тебе, милая! — она перекрестила Лохвицкую.— Попрощалась я.

Воронков перегнулся через борт грузовика:

— Пусть уйдут мои, прошу.

Марин пересек двор, подошел к жене Воронкова:

— Сударыня, вам надобно увести детей. Это зрелище не для них.

Она смерила Марина холодным взглядом:

— Нет уж, пусть видят и запоминают. Вырастут — вспомнят.

— Как вам будет угодно,— Марин откозырял и отошел.

Подъехала пролетка. Зинаида Павловна села и сказала, вздохнув:

— Собственно, вам и делать ничего не нужно. Оружие я проверила. Грузовик в полном порядке. Через двадцать минут вам останется только скомандовать «Пли!».— Она читала его мысли, и он с ужасом подумал, что его недавнее заявление «Я не буду расстреливать этих людей» не более чем истерика интеллигента, который так и не сумел адапти-

роваться к обстоятельствам. Не более. Марин сел рядом с Зинаидой Павловной.

— Ну? Вы или я? — спросила она с вызовом.

Марин промолчал, и тогда она крикнула:

— Трогай!

— Момент,— негромко сказал офицер в белой черкеске. Он появился в дверях суда почти театрально. Дипломаты прекратили разговор и с интересом ожидали, что последует далее. Офицер неторопливо спустился по ступенькам во двор и подошел к пролетке. Был он толст, глаза, как у борова, заплывшие и красные, пальцы рук волосатые и толстые. Нагайка в них казалась соломинкой.

— Это Скуратов,— успела шепнуть Марину Лохвицкая.— Наша достопримечательность,— и увидя, что Марин ничего не понял, добавила: — Пытает арестованных с помощью молотка. У нас его так и зовут «молотобоец».

— Вы его имели в виду, обронив что-то об эксцессах? — вдруг догадался Марин.

Она молча кивнула.

— Господин полковник, мадам,— довольно изящно поклонился Скуратов.— Я не опоздал?

— Берите, кого вам нужно, и уходите,— сухо сказала Лохвицкая.— Мы торопимся.

— Стецюк! — гаркнул Скуратов.

Подскочил молодцеватый старший унтер-офицер с кавказской серебряной шашкой кубачинской работы через плечо, молча вытянулся:

— Вашскобродь?

— Бери Гаркуна, сажай в наше авто и следуй в особняк, на Мичманскую. Я следом.

— Есть,— Стецюк начал откидывать задний борт грузовика.

Марин поднял глаза и увидел, что Гаркун забился в самый дальний угол, прикусил палец и изо всех сил старался сдержать страх. «Так вот о чем говорил Зотов...— с Марина словно упала пелена, и он увидел все в истинном, очень страшном свете.— Гаркуна возьмут в контрразведку, и подполье, с таким трудом налаженное, лопнет окончательно и бесповоротно. А ведь при отходе Врангеля, при его возможной эвакуации в Крыму будут очень нужны, поза-

рез будут нужны работники. И теперь, в этот ответственный период, никак нельзя оголять тихий фронт, никак нельзя... А Гаркун не выдержит, это совершенно очевидно».

— Унтер-офицер,— заорал Марин,— убрать руки от борта,— Марин расстегнул клапан кобуры. Стецюк отскочил как ошпаренный и с недоумением уставился на Скуратова.

— Вы что? — Скуратов сделал шаг вперед.

— Назад! — изо всех сил крикнул Марин.— Россию позорить?! Не дам! Приговор суда священен и неприкосновенен. Я — помощник генерала Климовича, правом и властью, данными мне главнокомандующим, приказываю вам убираться к чертовой матери.

Дипломаты заметно оживились, Скуратов топтался на месте, и было видно, что он растерялся.

Марин понял, что первую половину этой стычки он выиграл, теперь нужно было выиграть и вторую. Уже значительно тише Марин продолжал:

— Здесь иностранцы. Вы хотите уверить их, что Россия — страна негодяев?

Скуратов заколебался, но все еще не отступал. У него было каменное лицо и налитые кровью глаза.

— Послушайте, полковник, — Марин бросил взгляд на Зинаиду Павловну, как бы приглашая поддержать его,— вы уверены, что жалкие сведения этого полутрупа будут барону важнее, нежели государственный престиж?

— Приговор военно-полевого суда должен быть приведен в исполнение немедленно,— вступила в разговор Лохвицкая.— В самом деле, здесь дипломаты, вам бы следовало забрать Гаркуна сразу же, как только его вывели из зала. Сейчас вам лучше уйти, господин Скуратов.

— Что ж,— Скуратов сделал знак унтеру, и тот отошел в сторону.— Я, господа, работник, а не паркетный шаркун. Может быть, я и не понимаю всех этих гоголей-моголей, но одно я знаю: вы сейчас сорвали важнейшую операцию. Вы за это ответите. Стецюк, за мной,— он откозырял и удалился, сопровождаемый

придурковатым унтером, который шел за ним следом, печатая шаг и по-особому вывертывая ступни ног. Должно быть, для шика.

Лохвицкая проводила контрразведчика тревожным взглядом и крикнула:

— Поехали! — Потом повернулась к Марину: — Берегитесь этого человека. Вас не спасет ни должность, ни расположение Климовича. Этот патологический тип никому не подотчетен, не подконтролен. Увы!

— Он прежде всего офицер русской армии,— холодно заметил Марин,— я поставил его на место один раз и сделаю это еще столько раз, сколько потребуется.

— Да? — Лохвицкая с сомнением оглядела Марина.— Ну дай бог, как говорится, а совет мой примите.

Автомобиль двинулся, пролетка пошла следом. Кучера-солдата Марин прогнал и управлялся сам. Лохвицкая молчала. Марину тоже не хотелось разговаривать. Вокруг лениво ползли камни и скалы. Попалась небольшая речушка, скорее, ручеек, весело рокоча, он мчался к морю, оно бирюзово синело внизу, совсем неподалеку. Выехали на поляну с уже пожелтевшей травой. Деревья вспыхнули осенним пламенем, над ними где-то вверху в синеватой дымке исчезали горы. Автомобиль остановился, спрыгнули конвойные. Фельдфебель поправил ремень и, подобрав живот, подбежал к Марину.

— Вашскобродь,— бросил он ладонь ко лбу.— Что будем делать?

Марин взглянул на Лохвицкую и покачал головой:

— А вы как думаете?

— Я?! — фельдфебель потоптался в растерянности.— Я не могу знать, вашскобродь!

— Не терзайте солдата,— тихо сказала Лохвицкая и, повернувшись к фельдфебелю, добавила: — Прикажи копать могилу. Когда все кончится, сровнять с землей и засыпать ветками. Ступай.

Фельдфебель затрусил рысцой, солдаты сняли ремни и неторопливо начали копать яму. Приговоренные обнялись. Гаркун подошел к Воронкову и, поколебавшись, протянул ему руку:

— Простите, Антон Сергеевич, так уж получилось.

Воронков молча и горячо ответил на рукопожатие. Фельдфебель смерил черенком лопаты глубину ямы: было еще неглубоко, но, бросив взгляд на Лохвицкую, махнул рукой:

— Хватит!.. Становись,— протяжно крикнул он.

Осужденные выстроились на краю ямы. Команда исполнителей напротив, в четырех шагах. Фельдфебель ждал.

— Возьмите, полковник,— Воронков вынул из нагрудного кармана серебряный портсигар и бросил Марину. Тот поймал и невольно задержал взгляд на дарственной надписи, которая шла поперек крышки: «Любимому Антоше от Валентины в день ангела». Марин спрятал портсигар в карман и молча кивнул Воронкову. Дело затягивалось. Солдаты ждали команды, а ее не было.

— Я надеюсь, вы одумались? — нерешительно сказала Лохвицкая.— Тянуть больше нельзя. В конце концов, эти большевики — тоже люди.

— Да? — как бы удивился Марин.— Вы в этом уверены?

— Уверена,— резко сказала она.— Вы намерены приступить?

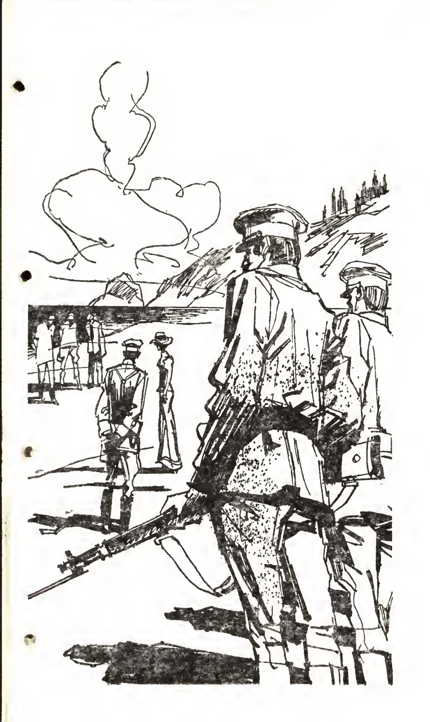
— Нет! — сказал Марин совершенно спокойно.— Разве я дал вам повод считать, что у меня семь пятниц на неделе? Я уже сказал «нет». Зачем вы вынуждаете меня повторять?

— Вы подумали о последствиях?

— Мы теряем время!

— А я полагала, что вы офицер и мужчина,— решила она сразить его этим последним доводом. Наивным, конечно, и детским, она и сама это почувствовала, но Марин ответил неожиданно резко и серьезно, и в его словах вдруг прозвучала совсем неподдельная боль:

— Думайте, как хотите... Не скрою, мне больно терять в ваших глазах, но сделать то, что вы предлагаете, и вовсе невозможно. Вы ведь не хуже меня знаете: эти люди ни в чем не виноваты...— «А теперь — будь что будет,— решил он.— Можно убить в открытом бою, можно убить, защищая товарищей или себя, можно убить даже в спину, и это



можно. Причастных к тяжкому многовековому преступлению мы расстреляли. И у меня тоже не дрогнула бы рука, как она не дрогнула у Якова Юровского, но здесь... Нет! Нельзя убить своих братьев, нет, нельзя! Никакой, самой святой целью не будет оправдано такое убийство...» Он не слышал ни команды, которую выкрикнула Лохвицкая, ни залпа, он только увидел ветки, много веток, с огненно-красной листвой. Они вдруг вспыхнули огромным костром посредине поляны...

Климович молча выслушал доклад Зинаиды Павловны и начал набивать папиросные гильзы табаком. Зинаида Павловна успела насчитать не менее тридцати готовых папиросок, а Климович все щелкал и щелкал своей машинкой и по-прежнему молчал.

— Ожидаю ваших приказаний,— не выдержала Лохвицкая.

Климович сунул папиросу в рот, смял мундштук и тут же его выплюнул:

— Арестовать и подвергнуть усиленному допросу. Вызовите сюда Скуратова. Поручим это ему.

— Но-о, ваше превосходительство,— растерянно начала Лохвицкая.— Я полагала, что мы обсудим, взвесим... проследим за ним, наконец... Что скажут Маклаков, Струве, Курлов — там, за кордоном? Что скажут все, кого он здесь фактически представляет?

— Остановитесь,— поднял руку Климович.— Вам угодно опровергнуть мое мнение? Прошу без эмоций. По существу.

— Извольте,— оживилась Лохвицкая.— Он не дал Скуратову взять на допрос Гаркуна. По-вашему, он спасал «своего» от этого костолома?

— Как вы сказали?

— Костолома, ваше превосходительство!

— Очень образно. Продолжайте, пожалуйста.

— А по-моему, он спас наше лицо, наше реноме, если угодно. Что бы завтра написали газеты во Франции, во всем мире? Что Россия — страна произвола, что в ней свирепствует охранка, которой все дозволено? Нет суда, нет закона, есть только палачи с крова-

вым топором? И что тогда? Парламенты отказывают барону в кредитах, вооружении, продовольствии...

— Допустим... — пробурчал Климович. — А расстрел?

— Он отказался, да! Но не думаете ли вы, что художник в прошлом, воспитанный в интеллигентной дворянской семье, в определенных традициях и убеждениях, он вполне искренне отказался стать палачом, и, более того, не кажется ли вам, что грубый большевик, получивший задание от своего хамского руководства, расстрелял бы этих троих ничтоже сумняшеся и только для того, чтобы получить их высшую награду, как его?

— Орден Красного Знамени,— подсказал Климович.

— Вот именно! И рассуждал бы этот подлец вполне логично: что важнее? Три этих жизни или тысячи красноармейских жизней там, на фронте?

Климович улыбнулся:

— Благодарю вас, вы говорили горячо. И убедительно. Согласен.

Зинаида Павловна покраснела:

— Вы могли подумать, что...

— Нет, нет,— замахал руками Климович,— прошу мне верить, я ни о чем о таком не подумал. Ступайте. Я проанализирую ситуацию и вызову вас. Крупенскому прикажите ждать у себя в номере.

Он, конечно же, подумал и понял, что судьба этого Крупенского ей далеко не безразлична. Он отпустил ее молчаливым жестом, и она ушла. В коридоре она остановилась возле мраморной статуи Купидона. У него было удивительно пошлое выражение лица и чрезмерно пухлые руки и ноги. Он чем-то неуловимо напоминал Скуратова. «Кажется, я влипла»,— подумала Лохвицкая. И даже это одесское словечко «влипла» не покоробило ее, хотя она очень не любила простонародных слов и старалась их не употреблять, даже мысленно. «Влипла, конечно же. Генерал решил, что я, как гимназистка, влюблена в этого Крупенского. Влюблена — и все».

Она направилась к своему номеру, открыла дверь. Наверное, Марин услышал стук замка, потому что он тут же появился на пороге:

— Что?

Она смотрела на него и повторяла про себя: «Влюбилась, как гимназистка. И это не генерал подумал, нет, это чистая правда — вот и все».

— Понятно,— сказал Марин.— Я арестован? Прекрасно.

— Сидите и ждите,— буркнула она и захлопнула за собой дверь.

Врангель выслушал доклад Климовича точно так же, как сам Климович выслушал доклад Зинаиды Павловны: молча, внимательно, с интересом. Спросил:

— Радио о его приметах послано? Книгу ищете?

— Так точно,— кивнул Климович и понял, что главнокомандующий мнения Зинаиды Павловны не разделяет. — Лохвицкая приводит убедительные доводы, но...

— Вот именно, «но»,— подхватил Врангель.— Вы не были знакомы с Александром Васильевичем Колчаком? — вдруг спросил он.

— Нет,— удивился Климович.— Мы служили по разным ведомствам,— он усмехнулся.— Он ученый, моряк, я — жандарм.

— Его труп после расстрела спустили под лед Ангары,— глухо сказал Врангель.— Что сделают с нашими трупами?

— Надеюсь избежать,— передернул плечами Климович.

— Есть указание Ленина,— сказал Врангель.— Больше почетных условий сдачи нам не предлагать. Расправиться беспощадно. Вы понимаете, что это значит?

— Теперь мы можем только умереть, ваше превосходительство, или отплыть восвояси,— усмехнулся Климович.

— На случай несчастья я распорядился заготовить необходимый тоннаж,— сказал Врангель,— из расчета на 75 тысяч человек. Армия прикроет посадку, иного выхода у нас, наверное, уже нет. Прошу вас этот разговор держать в секрете.

— Разумеется.

— Я упомянул о Колчаке вот почему,— Врангель открыл сейф и протянул Климовичу красную кожаную папку.— Здесь подробнейшая реляция о последних днях и часах государя императора в Екатеринбурге. Александр Васильевич переслал это Деникину, я обнаружил папку в делах штаба. Крупенский здесь упомянут. Я предлагаю не терять времени: пока суть да дело, проверьте его. Если он тот, за кого выдает себя, он должен знать такие подробности екатеринбургских событий, которые посторонний человек знать никак не может, даже если у ЧК семь пядей во лбу.

Климович вызвал Лохвицкую.

— Сударыня,— сказал он, улыбаясь.— По сути дела, вы породили этого Крупенского... в известном смысле, конечно.

— Я, кажется, понимаю,— Лохвицкая вымученно улыбнулась,— я породила, я должна и убить!

— В известном смысле, конечно,— повторил Климович.— Мы... считаем, что вы ни при чем, это ведь наша затея, и плоды пожинать... тоже нам.

У него был типичный жандармский кабинет: два кожаных кресла, кожаный диван, стол красного дерева и лампа с зеленым абажуром. На стене, за креслом, плакат: скачущий Врангель на белом коне. Казенная противная обстановка. Лохвицкая обвела глазами стены, выкрашенные серой масляной краской, и сказала:

— Вам нужно повесить несколько картин, ваше превосходительство, это оживит комнату.

— В самом деле? — удивился Климович.— Что значит женский глаз: острый, верный... Я, знаете ли, терпеть не могу живопись, и потом я считаю, что в рабочем кабинете розыскника не место салонным штучкам. Кстати, барон приказал очистить крымские дворцы: мебель, картины, фарфор, серебро — все сложено на пирсе, ждет погрузки на первый же отправляющийся в Константинополь пароход. Вы вроде бы сейчас не у дел, так я прошу: проследите за упаковкой. Огромная ценность все же...

— Слушаюсь.— Она ждала, что он скажет о Крупенском. Она думала, что ей поручат следить за ним, беседовать с ним — иными словами, вести обычное наблюдение. Но то, что предложил ей сделать Климович, повергло ее в ужас. Климович передал ей красную папку, полученную от Врангеля, и изложил точку зрения главнокомандующего. Потом усадил Зинаиду Павловну рядом с собой и, поглаживая ее руку, сказал просительно:

— Выручите, голубушка. Помогите старику. Мы ведь с вами давние соратники. Кому, как не вам, прийти мне на помощь.— Он горестно помотал головой и продолжал: — Если Крупенский виноват — накажите его. Я бы это сделал так: пригласил бы господ офицеров за хорошо накрытый стол. Скажем, здесь, в ресторане. Офицеры обсудили бы с подполковником екатеринбургские события. И если бы вдруг почему-либо стало ясно, что господин Крупенский запамятовал какие-то очевидные истины, я бы вышел с ним на Графскую пристань, к колоннаде, и в присутствии всех собравшихся решил бы с ним...

— Что имеет в виду ваше превосходительство? — напряглась Лохвицкая.

Климович открыл ящик стола, вынул малый маузер и протянул Лохвицкой:

— У вас, я знаю, дамский браунинг. Он не годится. Этот пистолет бьет наповал, со ста шагов, череп разлетается на куски. Вы извините за такие подробности, но, беря в руки оружие, надо знать, чего от него ожидать. Не правда ли?

— Правда,— одними губами произнесла Лохвицкая.

Она постучала в номер Марина и услышала ответ:

— Кого еще черт принес?

Вошла. Марин лежал на кровати в расстегнутом кителе.

— Однако,— улыбнулась Зинаида Павловна,— что с вами?

— Что со мной? — Марин сел, застегнул китель и вздохнул.— Меня здесь держат за коверного, как говорят в Одессе. И вы это отлично видите.

— Вижу,— согласилась она.— Только я не понимаю, почему вы так уж обижаетесь. Будь вы на месте Климовича...

— На месте Климовича я бы не устраивал балаган,— взорвался Марин.— Чего он добивается? Тщится доказать, что я не я? Чушь какая-то!

— Простите его,— мягко улыбнулась Лохвицкая.— Как простили однажды меня. Время такое, вы отлично знаете.

— Хватит все сваливать на время и обстоятельства,— заорал Марин.— Извольте меня расстрелять, если я того достоин. Но... заниматься черт знает чем... — он внезапно сник. — Впрочем, я все понимаю. Нервы. Простите. Чему обязан?

— Я еду в порт,— сказала Зинаида Павловна.— Климович мне поручил какие-то ящики с картинами и серебро из дворцов. Проследить за отправкой. Поедем вместе,— просительно сказала она.

— Вместе? Мне не доверяют. Я могу украсть что-нибудь из этих ящиков. Нет!

— Не юродствуйте. Климович просил, чтобы вы мне помогли. Вы ведь лучше меня разберетесь во всех этих полотнах, вазах, блюдах. Так что же?

— Едем.

В порту, на одном из самых дальних причалов, они увидели группу солдат, которые, беззлобно переругиваясь, таскали из пакгауза на пирс огромные картины, рамы и свернутые в рулон гобелены. Когда подъехали и вышли из коляски, Марин увидел, как два унтер-офицера волокут носилки для цемента, с которых падало старинное серебро.

— Стоять! — гаркнул Марин.

Унтер-офицеры вытянулись, носилки грохнулись, серебро со звоном рассыпалось.

— Соберите людей,— приказал Марин. Пока солдаты, галдя, выстраивались в две шеренги, Марин сказал Зинаиде Павловне: — Здесь, между прочим, на миллионы. Это — оружие, продовольствие, займы, престиж, наконец... Отсюда поедем к барону.

— Я согласна,— кивнула Лохвицкая.

Они подошли к ящикам. Солдаты тут же присло-

нили к ним два небольших полотна в роскошных вызолоченных рамах. Марин взглянул и ахнул: на первой был изображен Петр I в латах на фоне морского сражения, с маршальским жезлом в руках. В резком, типично барочном повороте головы и корпуса Петра, в прекрасно выписанной воздушной перспективе угадывался крупный мастер. На второй картине, совсем маленькой, изящная группа кавалеров и дам на пейзажном фоне слушала игру скрипача.

— Бог мой,— сказала Лохвицкая.— Какая жалость! Брызги прибоя, влага, грубость этих людей — все погибнет! Владимир Александрович, кто это?

— Петр — работа Жоржа Натьё,— сказал Марин,— а это... — он нежно провел рукой по раме пасторальной картины,— это писано великим Ватто. Трагедия — вот что я вам скажу...

Они подошли к солдатам.

— Братцы,— сказал Марин,— я только что видел, как вы грузили дрова.

Солдаты захихикали и начали переглядываться.

— Между тем,— продолжал Марин,— это все,— он провел рукой над пирсом,— достояние России. Придет день, утихнут бури, и благодарный русский народ помянет вас добрым словом за то, что сохранили эти величайшие богатства ума и рук наших предков для будущих поколений. Я надеюсь на вас, братцы, и благодарю заранее.

Вперед выступил пожилой фельдфебель:

— Мы не знали, вашбродь, что это... Одним словом, так... Теперь обещаем грузить не дыша. Дозвольте вопрос?

Марин кивнул, и фельдфебель продолжал:

— Вы давеча сказали «Россия», так ведь это все в Турцию уходит.

— Ребята! — крикнул Марин.— Слово офицера, все это останется в России, верьте мне!

Солдаты принялись за работу. На обратном пути Лохвицкая сказала:

— Зачем вы их обманули, Крупенский?

— Нет,— он отрицательно покачал головой.— Нет, я сказал им правду.

— Ну, знаете,— она возмущенно передернула плечами.— Мне-то уж вы могли бы не подпускать туману. Ценности отправят в Турцию и, как вы сами недавно сказали, обменяют на патроны и муку. Мне стыдно за вас, Крупенский.

— Вы идете со мной к барону? — холодно спросил он.

— Нет! — резко ответила она.— Вечером вы должны быть в ресторане, в девять часов. Офицеры контрразведки желают познакомиться со своим новым начальством. Не опаздывайте,— она вышла из коляски.

— А вы придете? — осторожно спросил Марин.

Она смерила его злым взглядом:

— К сожалению, я обязана там быть: мне приказал Климович,— и ушла, ни разу не оглянувшись.

И Марин понял: очередная проверка. В такое время Климович не стал бы затевать банкет только ради знакомства. Что же ему приготовили на этот раз?

...Врангель принял его сразу же. Любезно пригласил сесть и слушал, не перебивая. Потом сказал:

— Значение этих вещей я понял. Теперь объясните, что вы предлагаете?

— Ваше превосходительство,— сказал Марин.— Упаковку на пирсе нужно немедленно прекратить. Все вещи доставить в город, в удобное место. Опытные столяры должны сделать специальные ящики. Нужна стружка, много стружки и бумага, воск, клеенка. После упаковки и герметизации ящиков их можно отправить в порт. Корабль должен быть надежен, без течи и сырости в погрузочном помещении. Я не преувеличиваю, на эти произведения можно снарядить пятитысячную армию, ваше превосходительство.

Врангель улыбнулся:

— Любите искусство, Владимир Александрович? Я вижу, не спорьте... Я подумал сейчас знаете о чем? — Он прошелся по кабинету.— Рухнула империя, в России хаос и вакханалия черни. Наша побе-

да, мягко говоря,— он посмотрел в глаза Марину,— проблематична... Я никогда этого не скрывал. Вот вы — художник, интеллигентный человек. Вы представляете, что будет с Эрмитажем, Оружейной палатой, Румянцевским музеем, Третьяковской галереей?! Они же всё, всё раскрадут, расхитят, пустят по ветру! Ну что, скажите вы мне, понимает в искусстве «товарищ Буденный»?.. И другие «товарищи»? И зачем оно им, им всем? Трагедия в том, что они думают точно так же, как и я. И конечно же будущее поколение русских людей будет видеть в музеях только портреты своих «орлов революции». Увы! — Он долго молчал, видимо, нарисованная перспектива привела его в полное уныние, потом сказал: — Займитесь всем этим. Я распоряжусь.

Марин вышел из здания ставки. Казаки-конвойцы вытянулись, провожая его. Круто уходили вниз ступеньки каменной лестницы, за ней искрилось море. Марин начал неторопливо спускаться. Нужно было немедленно идти на явку, организовать похищение картин и серебра и остаться непричастным. Это было сложной задачей. Ведь сразу же после исчезновения ценнейшего груза контрразведка немедленно «отработает» всех причастных и неизбежно заподозрит его, Марина. Этого никак нельзя допустить...

Марин вышел на Таможенную. В витрине магазина для художников он увидел копию французского мастера. Это был Фрагонар: фривольный сюжет привлекал многочисленных прохожих. Люди останавливались, хихикали, громко обсуждали изображенное. Марин вспомнил, как Врангель сказал, что большевикам не понадобятся картины. Он умен и дальновиден, но здесь он явно ошибается. Генетическая ненависть рожденного в кружевах к рожденным в соломе. А задумывался ли когда-нибудь барон о том, что величайшие творения человеческого гения, украшающие дворцы рожденных в кружевах, сделаны руками рожденных в соломе, руками простых людей из народа, гениев? В конце концов, не всегда верхний слой производит этих гениев. Он слишком немощен и тонок для это-

го. Гениев рождает народ, только он и всегда он. И справедливость, простая человеческая справедливость требует, чтобы произведения искусства стали доступны народу. Ошибается барон. Большевикам очень нужны музеи, и никогда реликвии революции не вытеснят из этих музеев реликвий искусства, потому что марксизм — программа! А не молитва! Но если когда-нибудь появятся последователи Маркса, которые превратят его в идола и станут курить ему фимиам, тогда злобное пророчание «черного барона» может оправдаться, потому что тогда верх могут взять болтуны и проходимцы, вроде того братишки матроса из комендантского отдела ВЧК, который повесил маузер через плечо, с горем пополам научился расписываться в ведомости за заработную плату и решил, что учиться отныне должны только лошади, поскольку у них большие головы...

Звякнул дверной колокольчик, и Марин очутился в магазине. На стенах были развешаны дешевые литографии, на прилавке лежали стопки картона и несколько рулонов холста. Тут же стояли сложные мольберты — с противовесами и регулирующими устройствами. Марин никогда не видел таких и начал с интересом их разглядывать.

— Прекрасные вещи,— крикнул кто-то за спиной.— Шедевр!

Марин оглянулся. У прилавка стоял черноглазый человек, лет пятидесяти, в черной тройке, с золотой цепочкой от часов поперек жилета. На кончике его мясистого носа каким-то чудом зацепилось золотое пенсне, на волосатом пальце высверкивал перстень, во рту — золотые зубы. Весь человек так и сверкал, словно витрина, демонстрирующая возможности применения золота.

— Английские! — продолжал кричать человек.— Только что получены. Фирма — Виндзор и Ньютон. На таком мольберте работает Репин. Всего сорок тысяч! Пустяки, согласитесь?

— Ну, если учесть, что мое жалование всего только 80 тысяч, я могу приобрести целых два,— улыбнулся Марин.— Господин Акодис, если не ошибаюсь?

— С кем имею честь? — приподнял пенсне Акодис.

— Меня зовут Владимир Александрович.

— Прошу, пожалуйста,— засуетился Акодис.— Сюда прошу, нет, левее... Пожалуйста, вы угадали. Еще раз налево. Мы пришли.

Это была комната с окном во двор. Марин увидел огромный дубовый буфет в стиле рюс, круглый стол, на котором свободно можно было танцевать, и стулья с прямыми высокими спинками, похожими на вечерних старичков-скамеечников, каждый из которых проглотил по аршину.

— Прошу садиться,— продолжал суетиться Акодис.— Господин Коханый, вас ждут,— закричал он.— Прошу, пожалуйста, это мой жилец. Я сдаю комнату. Торговля теперь, сами знаете, как бульон от куриных яиц. Вы с ним побеседуете, а вот и господин поручик пожаловал.

Вошел Зотов. На нем по-прежнему была офицерская форма. Следом за ним появился рабочего вида человек в новом твидовом костюме. Через согнутый локоть у него была перекинута трость.

— Я буду за прилавком,— Акодис вышел.

— Товарищ Коханый,— представил Зотов.— А это товарищ из центра, с особыми полномочиями.

Марин удивленно посмотрел на Зотова: зачем такие внушительные рекомендации? Но Зотов незаметно для Коханого как бы слегка оттолкнул Марина раскрытой ладонью, давая понять, что вполне отдает себе отчет в своих действиях и считает их необходимыми.

— Прежде всего,— начал Марин,— я хочу уведомить вас, что наши товарищи расстреляны. На повторный допрос их не брали, спасти я их не мог.

— Понятно,— протянул Зотов.— Ладно, что есть, то есть. Как считаешь, Коханый?

— Я смотрю на вас обоих,— сказал Коханый задумчиво,— и решаю, кого из вас пристрелить первым? — Он засмеялся.— Уж больно натуральный у вас вид, особенно у тебя,— он кивнул в сторону Марина.— Не обижайся. Я по-рабочему, прямо. Не

очень-то я верю интеллигенции. Ты ведь какой-нибудь учитель или врач?

— Ленин тоже интеллигент,— спокойно сказал Марин, — и закончим на этом дискуссионную часть, перейдем к делу.

— Я только хотел напомнить товарищу Коханому, — сказал Зотов щурясь, — что рабочий Петр Алексеев, например, считал, что к окончательной победе рабочий класс может привести только интеллигенция. Так же и товарищ Ленин говорит, а кто возглавил революцию? Они же, интеллигенты. Так-то вот.

— Ладно,— отмахнулся Коханый.— Ты меня учеными словами не забивай. Ну и кончили на том. Говори, что за нужда.

Марин изложил все подробно. Про ящики на пирсе, про поручение Врангеля. Сказал:

— Нужно, чтобы солдат охраны вовлекли в пьянку. Еще лучше, одного фельдфебеля... Зачем лишних людей под расстрел подводить?

— Они не люди,— все так же хмуро заявил Коханый,— они белые. Продолжай.

— Потом, когда начнут расследование, станет ясно, что всему виной пьяница фельдфебель,— объяснил Марин.

— Чему «всему»? — невозмутимо осведомился Коханый.

— Разве не понятно? — удивился Марин.— Нужно будет изъять все эти ценности.

— А зачем? — спросил Коханый.

— То есть? — Марин только теперь понял смысл и значение недавнего жеста Зотова. Этот Коханый был крепким орешком.

— А то и есть, товарищ,— подчеркнуто спокойно начал Коханый,— что я ни свою жизнь, ни жизнь своей «пятерки» за эти царские цацки губить не стану. Если у тебя все, я пошел, мне в ночную.

— Это народное достояние,— закипая, сказал Марин.— В республике каждый валютный рубль на учете, а здесь их миллионы.

— Жили без картинок и дальше жить станем,— упрямо гнул свое Коханый.— Что нужно рабочему че-

ловеку? Хлеб, соль, сахар, одежу, крышу над головой. Остальным пускай буржуи пробавляются. На смерть идти, и почто? — Он замотал головой, словно ему в уши налилась вода.

Марин посмотрел на Зотова. Тот пожал плечами.

— Вот что,— Марин подошел вплотную к Коханому.— Вы повторяете слова Врангеля. Он мне два часа назад сказал, что рабочим нужно есть, пить, спать, справлять естественные надобности. На то они и рабочие. Вам не кажется странным такое совпадение мыслей?

— Ну ты, офицер,— встал со стула Коханый,— попридержи язык.

— Тогда так,— тихо сказал Марин.— Приказ выполнить. Не выполнишь — расстреляю. — И повернулся, чтобы уйти.

— Чей приказ? — с плохо скрытой иронией осведомился Коханый.— Твой, что ли?

— Приказ партии,— сказал Марин,— Ленина, мой,— и улыбнулся: — Слушай, Коханый, ты мне поверь пока на слово, ладно? И сделай все, о чем прошу, а до сути дела докопаешься позже. Прочитаешь тысяч двадцать книжек — и докопаешься.

— Двадцать тысяч?! — ахнул Коханый.— Ты спятил, товарищ.— Он так искренне удивился, что Марин рассмеялся, и вся злость у него сразу же прошла.

— Даже больше. Интеллигентом стать не просто. Не веришь мне, спроси вон у него,— и повернул голову в сторону Зотова.

— Я пока успел штук пять,— сказал Зотов.— Но мы с Коханым будем теперь стараться, еще вас обгоним.

Расстались друзьями.

Встреча в ресторане была назначена на девять часов, но Марин пришел на полчаса раньше: хотелось спокойно, в одиночестве послушать Плевицкую. Певица вышла на эстраду в старинном русском сарафане с кружевным платочком в руке. На этот раз она пела под обычную русскую гармошку:

«Здравствуй, чахлая полосонька моя, здравствуй, пыльная горячая земля. Ох ты, солнце, нет ни облачка кругом».

«Да ведь это она про Крым,— вдруг догадался Марин,— про них»,— он обвел глазами зал. Сколько их здесь, обреченных на изгнание и гибель, сколько их там, за стенами этого ресторана, в выжженных степях? Они умирают за мираж, за чуждые им идеалы, а те, кто случайно уцелеют, выживут — до конца дней своих там, на чужбине, будут вспоминать чахлую полосоньку и серое русское небо над нею... Она пела. И снова заметил Марин, как плачут люди с золотыми погонами на плечах.

Ввалилась ватага галдящих офицеров. Многих Марин уже видел в контрразведке. Следом вошла Лохвицкая, села и постучала вилкой о тарелку: этот когда-то моветонный жест теперь становился день ото дня популярнее.

— Господа,— крикнула Лохвицкая и, дождавшись тишины, продолжала уже обыкновенным голосом: — Мы собрались сегодня здесь, чтобы приветствовать нашего доброго товарища, нашего друга Владимира Александровича Крупенского.— Офицеры зааплодировали, и Лохвицкая начала рассказывать о Париже, о Монмартре, о Ренуаре, Дега, Дебюсси. Ко всему этому совсем недавно прикасался, этим жил Крупенский, и сколько еще предстоит потрудиться, говорила Лохвицкая, чтобы все эти радости духа и бытия снова стали доступны русскому человеку.

А Марин слушал ее и думал о том, что по иронии судьбы слова ее — чистая правда. И о труде, потому что русским людям и в самом деле предстоит потрудиться, чтобы подняться над мраком и плесенью прошлого, и о духе, потому что дух этот определенной частью русских людей давно уже утрачен. И эти, что сейчас слушают Плевицкую и нетерпеливо ждут, когда громко зазвенят бокалы с шампанским, эти бездуховны уже давно, может быть, со дня рождения. Лохвицкая провозгласила тост за здоровье нового «помощника начальника». Офицеры дружно поднялись, но Марин остановил их движением руки и негромко сказал:

— По обычаю русских офицеров, первый тост — за царя!

Выпили. И тут же оркестр заиграл, и все присутствующие подхватили: «Царствуй, державный, царствуй на славу, на славу нам...»

Потом Марин долго рассказывал об эмиграции, о Париже. Он не сгущал красок, говорил правду, понимая, что чистая правда заставит задуматься. У тех, у кого не было средств, родственников, выгодной профессии, а таких было большинство, тем следовало многое пересмотреть.

Незаметно разговор перешел на Романовых, их окружение в Царском Селе. Кто-то из офицеров спросил, как бы невзначай:

— Вы ведь контактировали по службе с Воейковым, Спиридовичем, бывали во дворце?

— Конечно,— кивнул Марин.

— У нас тут спор вышел. Великие князья называли друг друга по-семейному. Среди нас нет знатоков дворцовой жизни, спорим, кто как назывался. Не вспомните?

— Извольте,— улыбнулся Марин. — «Никки» — государь, «Валиде» — императрица, «Маленький» — наследник, «Машка» — Мария Николаевна, «Элла» — сестра императрицы, Елизавета Федоровна, «Сандро» — двоюродный дядя царя Александр Михайлович. Продолжать?

Офицеры переглянулись.

— У императрицы было еще одно интимное прозвище,— добавил Марин.— «Спицбуб». Анастасия Николаевна звала себя «швыбздиком».

— Не стесняйтесь, господа,— повеселела Лохвицкая.— Поручик, вы только что спрашивали меня о какой-то надписи в доме Ипатьева?

— Да,— поручик встал и застегнул воротник кителя.— Господин полковник, мы знаем, что в комнате, где злодейски умертвили государя, было какое-то странное изречение. На обоях.

Марин знал, о чем шла речь. Подробная запись об этом имелась в тетради Юровского. Он тут же поймал себя на мысли, что правильно в свое время отнесся к поведению и мнимой откровенности своего бывшего друга. Крупенский об этой части екатерин-

бургских событий умолчал, а дело было в следующем. Когда Юровский пришел после исполнения приговора на первый этаж в комнату, ту, в которой были расстреляны Романовы, около двери в кладовую он увидел надпись, нацарапанную карандашом. Она была сделана там, где упала после выстрела «сенная девушка» Анна Демидова.

— Обои в этой комнате полосатые, под ситчик,— медленно, словно вспоминая, начал Марин.— Справа под единственным зарешеченным окном кто-то нацарапал по-немецки: «Валтазар вард ин зельбигер нахт фон зайн кнехтен умгебрахт». Это двадцать первая строфа стихотворения Гейне «Валтазар»,— продолжал Марин.— Я переведу: «В эту самую ночь Валтазар был убит своими холопами».

— Кто же это написал? — ошеломленно спросил поручик. Было видно, что рассказ Марина потряс его, да и всех остальных тоже.

— Этого не смогли выяснить ни чекисты, ни мы,— сказал Марин.

— Я помню это стихотворение по-русски,— очень тихо сказала Лохвицкая.— Вот оно: «Мгновенно замер безумный смех и мертвый холод объял всех, и вдруг, о ужас, на стене рука является в огне и пишет. Буквы под перстом горят одна за другой огнем. И ни единый маг не смог истолковать тех пламенных строк. И в ту же ночь не взошла заря — рабы зарезали царя».— Лохвицкая встала, подняла бокал.— Господа, в этом стихотворении мистическая правда. Были буквы на стене, было предостережение, не было только людей около государя, которые бы могли истолковать его. Я бы так хотела, чтобы моя Россия стала иной, чтобы правили ею достойные люди и чтобы опирались они на достойных людей! — Она выпила залпом и швырнула бокал через левое плечо.

Он разлетелся на куски со звоном. Офицеры возбужденно обсуждали услышанное, им уже было не до Марина, а он молча уставился в тарелку и думал, думал о том, что сейчас его спас Юровский...

Его размышления прервал поручик.

Пьяно всхлипывая, он влез на стол и заорал на весь зал:

— А я не верю, не верю, и все! Император жив, и мы еще встанем под его знамена! — и, подавив рыдание, запел срывающимся голосом: — У нас у всех одно желанье: скорее добраться до Москвы, увидеть вновь коронованье, спеть у Кремля аллаверды!

Офицеры дружно подхватили знаменитый дроздовский марш...

Ленин просматривал утреннюю почту. Вошла Фотиева и положила на край письменного стола дешифрант телеграммы Белобородова с Кубани: «Врангель высадил десант и ставит своей целью отрезать от республики один из самых плодородных районов страны».

«И конечно же, вызвать там восстание против Советской власти,— подумал Ленин.— И тем самым затянуть кампанию до зимы и на зиму, и тогда...»

Ленин вызвал Дзержинского. Тот приехал через двадцать минут и молча выслушал неприятную новость.

— Ваше мнение? — сухо спросил Ленин. Эта сухость была вызвана волнением, которое в таких случаях Ленин всегда старательно сдерживал, и проявлялось оно только вот в таких сухих, отрывистых фразах.

— Думаю, что это громадная опасность,— сказал Дзержинский.

— Опасность? — переспросил Ленин.— Нет, это не опасность, это крах, если вам угодно знать. Восстание на Кубани теперь — это крах, Феликс Эдмундович. Давайте не будем страусами. Требую, чтобы вы немедленно, экстренно приняли самые неотложные меры. Нельзя допустить восстания. Не жалейте ни сил, ни средств. Если нужно, подключите военных.

— Я понял, Владимир Ильич.

— Вы знаете, как обстоят дела в Крыму?

— Да. Врангель предпринял неожиданное наступление на Мариуполь,

— Неожиданное? Нет, «неожиданное» наступление — это оправдание плохих военных. Следовало ожидать. Врангель — искусный стратег, он окончил Академию генерального штаба, и Кутепов совсем неплохой командир. Они умеют искусно маневрировать, а у некоторых наших военачальников закружилась голова: как же, «от сохи» и так изрядно побили образованных царских генералов? Плохо, очень плохо! Голова всегда должна быть холодной, тогда не будет «неожиданных» наступлений, не будет тысяч погибших зря. И еще вот что хотел я у вас спросить: что сделано по письму харьковских чекистов? По делу этого мерзавца? Рюн, кажется, так?

— Рюна больше нет, Владимир Ильич. С ним покончено.

— Товарищ, который выполнял задание, вернулся?

— Он в штабе Врангеля, Владимир Ильич.

— Вот как... Его необходимо представить к награде. У него есть семья?

— Только тетка здесь, в Москве.

— Позвоните ей, успокойте, скажите, что у него все в полном и несомненном порядке.

— Хорошо, Владимир Ильич, только несколько позже,— улыбнулся Дзержинский.

С Приморского бульвара доносился вальс, его играл военный оркестр. На рейде мерцали огни кораблей, накатывая на берег, серебристо высверкивали волны. Марин бросил в воду плоскую гальку и зачарованно считал:

— Раз, два, три... Загадал, сколько нам жить,— повернулся он к Зинаиде Павловне.

— Это не кукушка,— грустно сказала она.— Та и сто лет накуковать может, а вы больше семи всплесков не добьетесь, я знаю.

— Семь всплесков на одну жизнь — это прекрасно,— улыбнулся Марин. — Это редко бывает. Знаете, я думаю, что и один всплеск — чудо!

Кончилась еще одна проверка. Что они придумают в следующий раз? И эта женщина, эта странная женщина... такая нежная, такая чужая... Она ведь ни-

когда не изменит своим убеждениям. Никакая любовь, страсть, одержимая, всепоглощающая, не столкнет ее с однажды избранного пути, тем более теперь, когда ее корабль тонет. Нет, она этот корабль не покинет и погибнет вместе с ним. Но тогда бог с ней, тогда обыграть ее, она ведь сильный равноправный партнер, она-то играет? Или нет? Обыграть ее, и пусть мертвые погребают своих мертвецов...

Он спросил себя: «А ты? Ты изменил бы ради любви, ради сыновьего долга? Ради того, чтобы спасти жизнь дорогого и близкого человека? Нет, не изменил бы никогда. Отдал бы свою жизнь, чтобы спасти, избавить, но и только. Тогда почему требовать этого от нее? Потому, что правда у него. Нет, еще не сама правда, а только стремление к ней, беззаветный и сжигающий порыв. Если его сохранить на долгие годы, правда придет, восторжествует. Разве ради этого не стоит отдать жизнь, сгореть и увлечь за собой других, даже из стана врагов? Ведь эти враги — такие же русские люди, родившиеся здесь, на этих зеленых полях, под этими белоствольными деревьями, под этим грустным ситцевым небом... Им надо только объяснить, открыть глаза, доказать, и они поймут: ведь уже миллионы и миллионы поняли. Должны понять и эти, последние. Их ведь только тысячи...

— Наши вот-вот возьмут Мариуполь,— сказала Зинаида Павловна.— Может быть, еще и повернется все?

— Может быть.

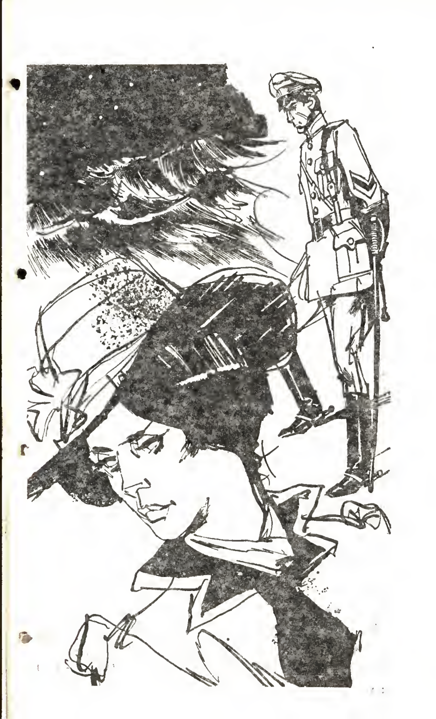
— Пленных много. Контрразведка свирепствует: расстрелы, расстрелы... В горах банды Орлова и Макарова, а ведь оба они офицеры, дворяне, люди чести, казалось бы... Я ничего не понимаю, перестаю понимать. Красные гуманнее нас? Как вы думаете?

— Думаю, что да.

— Почему?

— Потому что их сто пятьдесят миллионов. Они чувствуют свою неистощимую силу. Сильный всегда добрее.

— И справедливее?



— Они справедливы. Не всегда, конечно... Ошибаются подчас, жестоко, с кровью, но это издержки, и они пройдут. Красные — хозяева России. Этим сказано все.

— А нашим... навсегда предстоит покинуть родину... И они зверствуют, теряют человеческое лицо,— задумчиво сказала Зинаида Павловна.

— Наверное, вы правы.

— Я подумала, что в наших рядах все меньше и меньше порядочных людей,— она швырнула в воду камень, он запрыгал по склону неторопливо накатывающих волн: один, два, три, четыре всплеска.

— Вам предстоит долгая и счастливая жизнь,— улыбнулся Марин.

Но Зинаида Павловна отрицательно покачала головой:

— Вы думаете, я фанатичка? Палач? На моих руках нет крови.

— То есть... как? — опешил Марин.— Зинаида Павловна, у меня хорошая память, к сожалению...

— Да, я это сделала, скомандовала «Пли!»... Но ведь это нужно было вам, Владимир Александрович.— Она смотрела ему в глаза, тоскливо, обреченно, словно собака, ожидающая выстрела из хозяйского ружья... Не по дичи, по себе самой.

Выполняя приказ Марина, Коханый познакомился с начальником складской команды фельдфебелем Загоруйко. Когда он пригласил Загоруйко посидеть в распивочной на Приморском бульваре, тот сказал, что Коханый должен уважить и двух унтер-офицеров, пригласить на выпивку их тоже.

Коханый обрадовался. Это как нельзя лучше соответствовало его планам. Не посоветовавшись с Зотовым, он явился на встречу и повел всю компанию в «Три поцелуя». Там подавали пиво и вяленую салаку. Выпили раз, другой, третий. Коханому очень уж не хотелось глотать за его превосходительство главнокомандующего, но унтеры оказались дубовые, старого закала. Пили они, что называется, в три горла. Коханый успевал только бутылки считать. Пили, но языков не развязывали, отмалчивались и

отшучивались. И так уж вышло, что Коханый напился первым и первым развязал язык. Он и спросил-то всего ничего: «Когда завтра заступаете на посты», но этого оказалось вполне достаточно. Один из унтеров, Еремеев, секретный агент контрразведки, состоял на связи у полковника Скуратова. Уже через полчаса после того, как новые друзья, проревев последний раз «Распрягайте, хлопцы, коней», разошлись — Еремеев сидел на явочной квартире контрразведки и докладывал Скуратову о происшедшем разговоре. Скуратов для порядка выругал агента за то, что тот поднял его среди ночи с постели, но потом задумался. Чутье подсказывало ему, опытному розыскнику, что за этой на первый взгляд невинной выпивкой кроется, возможно, рука Москвы или, во всяком случае, местного обласкома, пусть разгромленного, расстрелянного, но все еще дающего о себе знать, тем более что речь шла об огромных материальных ценностях. Это Скуратов понимал хорошо. Отпустив агента, он пошел в «Кист». Климович еще не спал. Сидел в своем кабинете и читал Плутарха.

— Кури́те,—Климович подвинул открытый портсигар и чиркнул спичкой.

— Благодарю, Евгений Константинович,— отрицательно покачал головой Скуратов.— Мне доктор не советует, говорит: «При вашей крайне нервной работе куренне — гвоздь».

— Какой еще гвоздь? — удивился Климович.

— В гроб! Я бы и вам не советовал, ваше превосходительство. У вас ведь тоже нервная работа.

— Вы так думаете? — с плохо скрытой иронией осведомился Климович. Скуратов был ему крайне не симпатичен. Нет, работник он был отменный, таких поискать, но вот встречаться с ним, вести беседу... Это было крайне неприятно. И эти легенды о молотке, пытках... Может быть, он не совсем нормален, этот Скуратов?

— Скажите, полковник,— Климович пустил в потолок мощную струю дыма,— Скуратов, это что, от Малюты у вас? От времен Грозного?

— Нет-нет,— улыбнулся Скуратов.— Отнюдь, не

думаю, хотя... Все может быть. Ведь род наш — боярский, древний. Впрочем, я не знаю, а врать — не хочу.

— Что значит древний?

— Государем императором Николаем Первым прапрадеду пожаловано потомственное дворянство.

Климович засмеялся. Это было неприлично, но он не мог сдержаться. Этот новоявленный дворянин не имел о русской истории ни малейшего представления.

— Вы что окончили, полковник?

— Чугуевское пехотное, ваше превосходительство, по последнему разряду.

— Хорошо, докладывайте, что вас привело так поздно... вернее, так рано,— Климович подошел к напольным часам в углу и застрекотал цепями, поднимая гири механизма.

Скуратов изложил свои предположения.

— Вы полагаете, что вопрос собутыльника о постах выведет нас на подполье? — с сомнением осведомился Климович.

— Я уверен.

Климович пожал плечами:

— Приведите доводы.

— У меня их нет.

— И вы хотите, чтобы под это «нет» я выделил вам филеров для наблюдения, а их наперечет, и разрешил использовать транспорт?

— Я уверен в успехе,— упрямо повторил Скуратов.— Если ошибусь, готов нести любое наказание. Ваше превосходительство, я вас как честный человек предупреждаю: если вы мне сейчас откажете, я к барону пойду. Делайте со мной что хотите.

— Вы в самом деле пытаете людей молотком? — вдруг спросил Климович.

— Да! — не опуская глаз, отчеканил Скуратов.— И горжусь тем, что у меня хватает нервов. Я не интеллигент, ваше превосходительство.

— И мать у вас была? — хмуро спросил Климович.— Идите, я сейчас распоряжусь, чтобы вам дали транспорт и филеров-наружников.

К десяти часам утра Скуратов выяснил следующее: Коханый живет на Таможенной, на втором этаже дома, в котором помещается магазин художественных принадлежностей. Снимает комнату у хозяина дома и магазина Боруха Акодиса, работает в портовом заводе, имеет доступ к военной технике. К делу Воронкова и Гаркуна не причастен.

Эти данные ни о чем не говорили, ни о каком подполье тут и речи не было, и, если оно действительно существовало, для выяснения этого необходимо было заняться Акодисом и Коханым всерьез. Это требовало времени и серьезной работы. К часу дня Скуратов сильно заколебался, но слово не воробей, как известно, генералу обещано подполье. Нет подполья — старик, чего доброго, на фронт закатает, с него станется... И так уже не скрывает неприязнь и волком смотрит, особенно после появления этого беломанжетника Крупенского. Тоже фрукт! Надо еще посмотреть, что к чему...

Скуратов томился в пролетке, непривычный штатский костюм тяготил его. Лохвицкая, которая ему подыгрывала, изображая не то уличную проститутку, приглашенную на час, не то постоянную любовницу, злилась па такую непристойную роль, злилась па Скуратова и готова была публично выцарапать ему глаза — просто так, по-бабьи. И он это чувствовал, видел и назло каждую минуту прижимал ее к себе. Она едва сдерживалась, чтобы не ответить ему серией тяжеловесных пощечин. И вдруг в половине второго на тротуаре противоположной стороны улицы появился офицер. Он шел развалистой, явно усталой походкой, похлестывая себя по голенищу сапога стеком. На него бы и внимания никто не обратил, но офицер остановился, снял фуражку и ожесточенно поскреб себе пятерней голову.

— Ничего себе,— протянула Лохвицкая.— Совершеннейший хам, вроде вас. Я уже видела его в ресторане. И в суде,— вспомнила она.

— Но, но! — озлился Скуратов. — Я попрошу... без сравнений.

— Да это же Зотов! Из харьковской «чрезвычайки»,— ахнула Лохвицкая.— Тогда в ресторане...— она осеклась, вспомнила о Крупенском и поняла, ин-

стинктивно почувствовала, что сейчас лучше промолчать.

— Врешь! — Весь псевдолоск сразу слетел со Скуратова.

— Вы идиот! — процедила Лохвицкая.— Вы видите, он вошел в магазин?

— А что тогда, в ресторане? — вдруг опомнился Скуратов.

— В ресторане? — Она сделала непонимающие глаза.— А-а, он аплодировал Плевицкой.

— Подождем еще десять минут,— решил Скуратов.— Если никто больше не придет, оцепим квартал и возьмем всех, кого найдем внутри дома.

Скуратов установил наблюдение за домом Акодиса в десять утра. Он не знал, что в девять к Акодису пришел Марин, чтобы договориться о деталях операции по изъятию ценностей, которая была назначена на вечер. Пришел, все обсудил и собрался уходить, но заметил на другой стороне пролетку с Лохвицкой и Скуратовым и понял, что появились они здесь, выследив Коханого. И не ушел. Со стороны черного хода и двора тоже торчали филеры-наружники. Положение складывалось совершенно безвыходное. И вот в этот самый, очень отчаянный момент в подсобку ввалился Зотов и объявил Марину, хмурясь:

— Книга... если ты понимаешь, о чем речь, не обнаружена. Сделать ничего не смогли. Тебе просили передать: ма-кси-мум... — он с трудом выговорил это слово,— осторожности...

— Спасибо,— сказал Марин,— а теперь выгляни в окно.

Зотов выглянул и побелел. Засуетился и схватился за кобуру.

— Идите за мной! — Акодис сунул Зотову в руку плотную пачку открыток.— Это порнография. Приходили ко мне исключительно за этим. Документы у вас в порядке, так что выкрутитесь.— Он повел Зотова в торговый зал.— Я сейчас вернусь,— повернулся он к Марину на ходу. Акодис преобразился. Обычно нервный и суетливый, многословный и крикливый, он теперь олицетворял собой спокойствие, деловитость и выдержку.

В зале он еще успел спросить у Зотова:

— Что за книга? О чем речь?

Вопрос был запрещенный, вопреки правилам, по Зотов с чистым сердцем ответил, что пе знает. Он и в самом деле не зпал. Если бы Акодис задал этот вопрос Марину, если бы успел... Но— он не успел, а вернее, забыл. Было уже не до вопросов...

Он вернулся в подсобку и начал отодвигать от стены огромный буфет. Марин помог ему. Буфет с трудом сдвинулся с места, за ним в стене была неглубокая ниша, нечто вроде вертикального склепа.

— Вы! — коротко бросил Акодис.

— Но...— начал было Марин. Однако Акодис подтолкнул его к нише и добавил коротко:

— Вы же понимаете...

Марин встал в нише, спиной ощутив сырой холодный камень. В то же мгновение Акодис, смешно покряхтывая, начал передвигать буфет на место. Вот только маленькая щелочка осталась, вот и она исчезла. Марин услышал, как Акодис чем-то колотит по ножке буфета.

— Гвоздь,— объяснил Акодис.— И захотят — не сдвинут.

Постепенно глаза Марина привыкли к темноте. Он обнаружил, что в задней стенке буфета сияет довольно широкая, с палец щель, сквозь которую виден на полке графин с водкой, рюмки, а за ними пупырчатое стекло в створках.

Оставив Марина в нише, Акодис вновь вернулся в торговый зал. Несколько покупателей, среди них незнакомый офицер и Зотов, стояли у стены с поднятыми руками под конвоем солдат из контрразведки. Вдоль задержанных неторопливо прохаживался Скуратов. Лохвицкая сидела в кресле и разглядывала какую-то литографию. Акодис посмотрел сквозь грязноватое стекло витрины: улица была перекрыта солдатами.

Скуратов начал проверять документы у задержанных. Они у всех оказались в порядке, а главное, все покупатели, в том числе и две женщины, назвали общих знакомых, сослались на уважаемых людей и были отпущены с обязательством сутки оставать-

ся дома и явиться в контрразведку по первому требованию. Только двоих оставил Скуратов: мужчину лет пятидесяти по фамилии Угрюм-Наливайко и Зотова.

— Пройдемте куда-нибудь туда,— махнул Скуратов рукой,— здесь витрина — неудобно. Подсобное помещение есть?

— Прошу,— Акодис открыл дверь.

— Но я акушер, я из Харькова,— заволновался Угрюм-Наливайко.— Я совершенно случайно застрял в Крыму. Разве может честный человек располагать собой, когда кругом режут друг друга.

— Во-первых, Харьков у красных,— сказал Скуратов,— во-вторых, что значит «режут»? Мы боремся с большевиками, не так ли?

— Пусть так,— нервно взмахнул руками Наливайко.— Меня знает весь Харьков. Я у половины города детей принимал.

— Зачем вы пришли сюда?

— Я? — смутился Наливайко.— Да так... знаете. По чести сказать, остановился у витрины. Любопытно стало, решил зайти.

— У витрины? Ай-яй-яй! Врете, голубчик! Акушер не остановится возле такой витрины. Он этим товаром объелся в натуре, зачем ему картинки? Вы что, гимназист?

Фельдфебель подтолкнул Наливайко в спину. Зотова не трогали. Его задержание было для нижних чинов загадкой. В подсобке Скуратов сказал, обращаясь к Зотову:

— А вы зачем пожаловали, поручик?

Зотов молча протянул открытки. Скуратов просмотрел несколько штук, заинтересовался, сел к столу и тщательно изучил все остальные, потом укоризненно посмотрел на Зотова.

— И это когда родина в опасности. Вам не мерзко?

Зотов молчал, тогда Скуратов проворковал:

— Вас опознала вот эта дама.

Лохвицкая стояла у окна, на контражуре, и поэтому Зотов ее не сразу узнал. Там, в торговом зале, он вообще не обратил на нее внимания, приняв за покупательницу.

— Эта? — Зотов подошел вплотную к Лохвицкой и вдруг рванулся в окно, ногами вперед. Посыпалось стекло. Два солдата повисли у него на плечах, втащили в комнату и свалили на пол.

Акодис покачал головой, с горечью подумал:

«Ах, Зотов, Зотов, горячая голова. И момент выбрал неудачный и даже отстоять себя не попытался».

Посмотрел украдкой на буфет: как там этот... красный полковник, чекист? Этот Крупенский?

А Марин все видел через стекло, вернее, отчетливо представлял по движению силуэтов, и слышал все от первого до последнего слова.

— Закройте дверь,— приказал Скуратов.— Вы — сотрудник ЧК Зотов.— Скуратов подошел к распростертому на полу Зотову и наступил ему сапогом на грудь.— Меня интересует цель вашего появления в Севастополе и ваши сотрудники в аппарате штаба, они у вас наверняка там есть.

— Дешево ценишь свой штаб, гнида! — прохрипел Зотов.— Что, у вас тут все такие продажные?

Скуратов резко, отрывисто ударил Зотова в подбородок носком ботинка. Клацнули зубы, из прокушенной губы потекла кровь.

— Повторяю вопрос: явки, связи, пароли... считаю до трех,— Скуратов снова ударил, сильнее, лицо Зотова стало похоже на свежую печенку.— Ладно! — Скуратов обвел комнату неторопливым взглядом и задержал его на молотке у ножки буфета. Молоток забыл Акодис. Он с ужасом проследил за глазами контрразведчика и бросился к молотку:

— Простите, нужно убрать, можно пораниться.

— Пораниться? — весело переспросил Скуратов.— Ах как хорошо! — Он опередил Акодиса, поднял молоток и вернулся к Зотову: — Предпочитаешь гибель предательству, сволочь? Вот посмотрим, как ты воспримешь смерть этих людей,— Скуратов мотнул головой в сторону Акодиса и акушера.— Я их сейчас на твоих глазах забью молотком!

Марин никогда в жизни не падал в обморок, теперь же ему показалось, что он не в нише, за буфетом, а в могиле, в гробу, крышка которого наглухо заколочена и воздуха больше нет, совсем нет. Марин хватал ртом, и ему представлялось, что сейчас, через мгновение он не выдержит, свалит буфет, выскочит, уложит из нагана кого сумеет, и будь что будет...

Отрезвили его глухие удары, невнятный стон и животный, рвущий душу крик. Он понял, что должен выдержать и это, не имеет права не выдержать, потому что завершающей стадией его работы должно стать наказание палачей. Если же сейчас сдаться, не будет этого наказания... Нет, мести не будет — сладкой, всепоглощающей, беспощадной. Ради нее стоит и нужно перенести все, все... Где-то краешком меркнущего сознания он еще контролировал себя, свои мысли и словно посторонний наблюдатель фиксировал их непоследовательность, алогичность, просто какую-то экстремистскую суть, фиксировал и тут же объяснял: ведь это оттого, что все происходящее за пределами психики, и мозг защищается. Не в мести же дело, просто нужно выдержать и выполнить свое задание...

Угрюм-Наливайко валялся в углу с пробитой головой, грудь у него тоже была пробита, точно напротив сердца — у Скуратова был сильный удар и тренированная рука.

— Я пройду в столовую,— сказала Лохвицкая.— Там книги, я их пока просмотрю.— Она ушла.

— Если ты не станешь говорить,— тихо и зло произнес Скуратов,— я с этим евреем сделаю то же самое, что и с его русским братом по Евангелию от Ленина.

— Хочу встать,— с трудом произнес Зотов.

Фельдфебель и солдаты помогли ему подняться. Зотов повел плечами, потянулся, словно разминался утром после сна, потом попросил:

— Скуратов, кажись...— он уже не скрывал, что он ряженый и простонародный.— Подойди, вашбродь.

Скуратов подошел. У Зотова был очень жалкий вид, и Скуратов подумал, что достиг цели. Этот че-

кист заговорит наконец. Но Зотов не заговорил. Он изо всех сил ударил Скуратова ногой в пах. Скуратов скрючился, захрипел, присел на корточки.

— У-у-бей его,— превозмогая боль, сказал он фельдфебелю.

— Простите меня,— ни к кому не обращаясь конкретно, сказал Зотов.— Видать, судьба...

Скуратов дотащился до стула, взгромоздился с трудом на него. Зло сверкнул глазами:

— Ждешь, дурак? Огонь!

Фельдфебель рванул наган из кобуры и в упор выпустил в Зотова весь барабан. Зотова отбросило к стене, он даже не вскрикнул. По офицерскому кителю начали расплываться огромные бурые пятна.

— Теперь ты,— повернулся Скуратов к Акодису.

— А что я? — осторожно осведомился Акодис.

— Связи? Пароль? Явки? Как к тебе обращаться? Господин или товарищ?

— Ну какой же я вам товарищ? — улыбнулся Акодис.— Вы наверняка член «Союза русского народа», а я — еврей.

— И что самое страшное, большевик,— почти доброжелательно заметил Скуратов.— Что может быть хуже еврея-большевика?

— Наверное, только вы, господин офицер,— скромно опустил глаза Акодис.

— Что? Ах ты! — задохнулся Скуратов.— Да я же тебя...

— Но я не большевик,— перебил его Акодис. И Скуратов замолчал, пораженный таким нахальством.— Я пока еще не удостоился такой чести, — продолжал Акодис.— Я очень слабо подкован теоретически и к тому же принадлежу к мелкой буржуазии, как мне разъяснили более опытные товарищи: образования мне не хватает. Я ведь житель местечка — черты оседлости... Процентная норма, знаете ли...

Скуратов открыл рот, чтобы выругаться, но Акодис снова его перебил:

— Однако я хочу быть с вами искренним. В душе я самый настоящий большевик. Вы знаете почему? По-

тому что еврейский вопрос существует две тысячи лет, и вот только теперь впервые большевики признали во мне равноправного человека. Как же мне их продать, господин офицер?

Наверху послышался шум, и солдаты втолкнули в комнату Коханого.

— Забился под кровать,— доложил унтер-офицер.

— Со страху,— объяснил Коханый.— Кто у вас так орет?..

— Это мой жилец,— сказал Акодис.— Он прописан, все в порядке. Вы проверьте паспорт, пожалуйста.

Только теперь Коханый заметил трупы и в ужасе попятился.

— Не нравится? — улыбнулся Скуратов.— С тобой будет то же, если станешь молчать.

— Да я, вашбродь, ни черта не знаю,— глупо улыбнулся Коханый.— Отпустите меня. Мы заводские, и у нас смена скоро.

— Смотри сюда... — Скуратов выдернул револьвер из кобуры еще более ловко, чем только что до него фельдфебель, но в отличие от фельдфебеля он ничего не ждал. Он выстрелил семь раз подряд, прямо в лицо Акодису.

Коханый прижался спиной к стене, закрылся руками.

— Говорить будешь? — едва слышно спросил Скуратов. Его трясло.

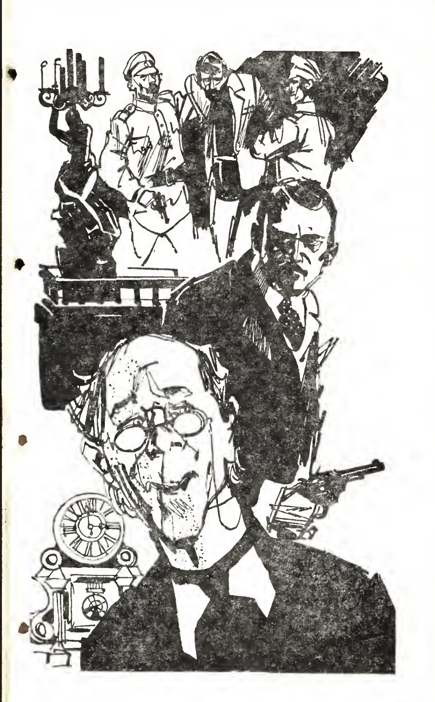
Коханый молча начал кивать, быстро-быстро, словно у него начинался припадок эпилепсии.

— Возьми его,— распорядился Скуратов.— Доставь в особняк. Я еду следом. Нет, сначала в «Кист», мне умыться надо и пообедать и отдохнуть, а он никуда не денется.

Фельдфебель взял Коханого за плечо и вывел из комнаты. Скуратов обвел ее взглядом в последний раз, потом приказал солдатам:

— Трупы — в авто, двери опечатать, оставить караул. Дождетесь, пока уйдет мадам.

Скуратов подошел к буфету, открыл дверцу. Марину показалось, что контрразведчик хорошо его видит.



Было мгновение, когда Марину снова захотелось опрокинуть буфет и разом покончить со всем, но он сдержался, а Скуратов наполнил рюмку и жадно выпил. Повернулся, чтобы уйти, и увидел Лохвицкую. Она стояла на пороге без кровинки в лице.

— Мадам,— поклонился Скуратов.— Вы со мной?

— Я еще не все просмотрела,— она обвела глазами комнату.— Послушайте, что вы натворили? Это же не работа...

— А что это?

— Не знаю. Три покойника и ни одного слова.

— Ничего, Коханый жив и заговорит... Я отдохну, наберусь сил и все разом, как это? Ком-пен-сирую! Да?

— Да,— кивнула она.— Я доложу барону. Вас надобно вывести в расход. Чем скорее — тем лучше.

— Ба-а-ро-ну? — протянул он.— Ха! Три раза «ха»! Барону не до этих сантиментов! Расстреливали, расстреливаем и будем расстреливать! Вам не нравится? Тогда идите в офицерский публичный дом. Нет, нет, нет, заведывающей, за-ве-дыва-ющей! Честь имею! — он щелкнул каблуками и вышел.

Лохвицкая вернулась в библиотеку, снова начала просматривать книги. Какой-то час назад их держал в руках хозяин магазина, как его? Акодис, кажется. Лежит теперь в углу, в крови, лицо — кровавое месиво. И этот чекист из Харькова, сколько раз приводил и уводил он из камеры Крупенского, симпатичный, молодой — тоже лежит в другом углу, китель набряк от крови... Набух... Набряк. Станут класть в гроб, не снимут, засохнет все, заскорузнет. Ах, чепуха какая. Да кто же его станет класть в гроб? Зачем? Зароют где-нибудь за оградой кладбища — вот и все, а то и того проще — сбросят в ущелье или в яму какую-нибудь, даже веток сверху не будет, красных осенних веток, как на той могиле, на той... когда Крупенский не стал стрелять. Потом она пыталась убедить себя, что ничего особенного не произошло. Так... обыденщина: взяли конспиративную квартиру красных, перестреляли всех — велика ли беда. Что, красные поступили бы иначе? Нет! Так же беспощадно расправились бы и были бы правы. Гражданская война. Как это говорил

Крупенский: «Нет победителей и нет побежденных, кто-то должен исчезнуть»,— да ведь он и еще говорил: «Красные сильнее и, значит, добрее, потому что сильный всегда добрый». Может быть, арестовав ее в Харькове, например, при совершенно аналогичных обстоятельствах, Зотов и не убил бы ее или любого другого сотрудника белой контрразведки? И она вдруг отчетливо и до боли поняла, с ужасом и отчаянием, страшно было признаться самой себе, но она призналась: нет, не убил бы ее Зотов и другие не убили бы. Разве что потом, по приговору суда, а так? Самосудом? Нет! Никогда! Правда же: сильнее они и добрее.

— Я камин затоплю, барыня,— прервал ее мысли солдат.— Желаете?

— Желаю,— машинально ответила она.— Холодно мне, братец, затопи.

Солдат натаскал дров, вспыхнуло веселое пламя, она протянула руки к огню, пытаясь согреться, но не могла. Ее била дрожь.

— Скажи, братец, почему ты служишь?

— То есть как? — вытаращил глаза солдат.— Мобилизованные мы, еще с 16-го.

— Я не о том. Армия у нас добровольческая. Тебе, как старослужащему, никто бы и не препятствовал уйти, а ты не уходишь.

— Нельзя нам.

— Почему? Хочешь победы белому движению?

— Эх, барыня, ваше благородие,— вздохнул солдат.— Да я вам так скажу: белые, красные — нам всё едино. Мы служим. Хозяина только паршивая собака меняет, а мне и выгода к тому ж... Какая? А мы из Твери. У нас там мастеровщина. Так я смекнул: накоплю деньжонок, перепадает другой раз — не секрет, вернусь в родные палестины и питейное заведение открою, с бабами, чтобы чулки раздевали. Э-эх, попрет мастеровщина. С тощих да ледащих своих жен да на кисленькое, копейка к копейке — я в люди выйду. Вот она, какой идеял у меня.

— Так ты идейный?

— А как же? Одобряете?

— А не мало ты хочешь?

— Мало? Не-е, мы свое место знаем. Красные как?

Всех уравнять хотят! Пустое дело. От бога положено: сначала бог, потом царь, потом — псарь. Никому этого не поломать.

— Ладно, иди, идейный борец,— она это сказала без всякой иронии, очень серьезно.

Солдат ушел, и она снова подошла к полкам. Странное дело: нужная книга лежала на самом видном месте, над томами словаря Брокгауза и Эфрона, она сняла ее с полки и стряхнула пыль, села к столу, положила перед собой. Она не открывала ее, медлила, вряд ли она и сама бы смогла объяснить почему: ее томило какое-то неясное предчувствие, неуловимое ощущение надвигающейся катастрофы, которая покончит разом со всем, все похоронит, перекрестит, уничтожит...

«Чего я боюсь? — думала она.— В чем не хочу себе признаться? Этот человек дорог мне и нужен. Я люблю его. Жизнь без него потеряна для меня навсегда. Пусть так. Не этих мыслей я пугаюсь. Нет. Я чувствую, как уходит из-под ног земля. Делается темно в глазах, как только я начинаю думать о том, что поиск этой книги затеян недаром, что на фотографии в ней запечатлен Крупенский, только... только не этот Крупенский. И в этом, наконец, нужно отдать себе полный и ясный отчет».

Откуда-то из глубины дома донесся грохот, и почти сразу же на пороге столовой появился Марин. Он был бледен и спокоен. Увидев Лохвицкую, улыбнулся:

— Здравствуйте, Зинаида Павловна.

— Я знала,— кивнула она.— Я знала, что вы здесь, в доме.

— В самом деле? — бодро спросил Марин.— Почему же вы не присоединили меня к тем... кто валяется в подсобке? Вы видели?

— Оставьте, Владимир Александрович, или как вас там...— сказала она глухо.— Поклянитесь, что в этой проклятой книге вы, и я вам поверю, и пусть все идет, как идет, до конца.

— И вы бросите книгу в камин?

— Да!

Он подошел к столу, сел напротив:

— Зинаида Павловна, в этой книге Крупенский,

а моя фамилия Марин, Сергей Георгиевич. Я из контрразведки ВЧК.

— Боже мой! Боже мой! — произнесла она едва слышно.— И вы так об этом говорите. Так говорите...

— Откройте 316-ю страницу.

— Нет!

— Тогда объясните, чего вы-то боитесь? Меня?

— Нет, я боюсь не вас. Я боюсь за вас и за себя тоже. Вот так. Я совсем не понимаю, на что вы надеетесь. Логики нет, здравый смысл отсутствует. Вы уже мертвы. Как те... Выслушайте меня.

— Говорите...

— Только сразу должно быть ясно: что бы я ни думала, что бы ни чувствовала, у меня перед родиной долг есть, понимаете? Я хочу сократить этот разговор до минимума, Владимир... Сергей Георгиевич. У вас есть только один выход.

— Сдаться?

— Убить меня. Сейчас. Здесь. Я не окажу сопротивления. Убейте и уходите.

— А если нет?

— Я вас арестую.

— И Скуратов переломает мне все кости. Что ж, если вам так легче...

— Что вы хотите сказать? — перебила она, морщась, словно от боли.— Говорите быстрее.

— Я хотел вспомнить кое о чем, кое-что уточнить. Вы не торопите меня. Давайте во всем разберемся спокойно. Слушайте: там, в камере, когда я назвал ваш псевдоним «Викторов», вы сразу и безошибочно поняли, что я просто-напросто угадал, вы поняли, что я не Крупенский, вы убедились в этом, когда я позволил вам расстрелять Рюна, этого негодяя, врага революции, и вы знали, что, расстреливая его, вы исполняете не мой и не свой приговор.

— Чей же?

— Советской власти. Наши намерения совпадали в тот момент, вот и все. А когда я отказался убить Воронкова и рабочих и не отдал их Скуратову на повторный допрос, вы и тут все правильно поняли. Вы поняли, что смерть для этих людей — избавление. Вы сказали потом: «Я их расстреляла, потому что это нужно было вам».

Она долго молчала, потом произнесла тихо и обреченно:

— У меня нет выхода. Уходите.

— Об одном прошу: не рубите сплеча,— сказал Марин,— не рубите... Вы причините мне огромную боль.

— Боль? Нет! Вы просто боитесь, что я вас выдам.

— Я люблю вас.— Он сказал эти слова и понял, что покатился в пропасть, из которой нет возврата. Но эти слова томили его, жгли. Он не мог их не сказать. Любовь никогда не перестает, ни-ког-да! Пророчества прекратятся, и языки... умолкнут, и знания упразднятся, а любовь пребудет вовеки. Он сказал эти три слова, и ему стало легко. Что бы ни произошло теперь, что бы ни случилось в его жизни — совершилось главное, совершилось то, ради чего жив человек: пришло счастье. Короткое, без прошлого, без будущего — так, миг единый...

Врангель принял французского посла приватно, подружески. Под темным от времени мореного дуба потолком стлался сигарный дым, в чашках настоящего севрского фарфора — наследство великого князя Алексея — вязко и глянцевито подрагивал настоящий «мокко». Посол рассматривал чашку на свет, любуясь тончайше выписанной миниатюрой, галантной сценой в духе Ватто.

— Изумительно! — он сделал маленький глоток одними губами, зачмокал, прикрыв глаза. По его лицу расплылась гримаса удовольствия. Он высоко поднял чашку и заглянул под ее дно, чтобы рассмотреть марку.— О-о, я так и думал. Здесь голубая монограмма из двух «эль» и литера «V» — знак 1773 года. Это редкость. Такой сервиз стоит не менее ста тысяч франков.

— В самом деле? — равнодушно спросил Врангель.— Уверяю вас: я предпочел бы наличные деньги, вернее, аэропланы и пулеметы на эту сумму.

— Вы равнодушны к искусству? — наивно осведомился посол.— Впрочем, немецкие дворяне всегда бы-

ли грубоваты. Не так ли? Меч и седло — вот их удел. Они воины, слуги Вотана, а не Аполлона.

— Одина, но не Браги, хотите вы сказать,— возразил Врангель.— Мой род шведского происхождения. Мы перешли из Швеции в Россию в XVI веке. Не все. Часть наших предков продолжала служить шведской короне. В Полтавской битве шесть Врангелей дрались за Карла, шесть — за Петра. Шведы — тоже воины. Викинги.

— Уверен, что в вашей родословной — только воины.

— Мой дед, генерал-адъютант, взял в плен Шамиля,— заметил Врангель.— Я хотел бы задать вам вопрос: англичане настаивают на переговорах с Совдепией, тем не менее я отказался от почетной сдачи, которую предложил Фрунзе. После этого мы перехватили радио Москвы. Ленин приказал расправиться беспощадно. У меня триста тысяч женщин, детей и стариков.

— Советское правительство не тронет мирное население,— жестко сказал посол.— Мне бы не хотелось вести сейчас демагогический разговор, однако, чтобы спасти армию, у вас есть только два пути: Турция или капитуляция.

— А помогут ли мне тоннажем в случае эвакуации?

— Да! Но на Западе все более и более зреет мысль о бесполезности борьбы.

Врангель встал и нервно прошелся по кабинету:

— Нет! Я никогда не признаю Московский Совнарком. Это репей, выросший из анархии.

Председатель правительства Кривошеин, который до сих пор молча глотал кофе чашку за чашкой, заметно оживился:

— Пусть мы все погибнем, все до одного,— сказал он непримиримо, с плохо скрытой яростью.— Но за стол переговоров с этими... Нет и никогда!

— Я понимаю ваши чувства,— улыбнулся посол.— Вы были сенатором, чуть ли не вторым лицом в государстве, а теперь... И тем не менее всем нам следует проявить государственную мудрость. Советы и нам предлагают мир и торговлю — это, с одной стороны, с другой же — они исступленно призывают наших рабочих как можно быстрее совершить социалистическую

революцию. Конечно, это раздражает... Но призыв к революции — еще не революция, а Советская Россия... Увы! Исторический факт. С ним придется считаться,— посол встал.— Кофе был прекрасен. Сервиз — вне всяких похвал. Честь имею.

Врангель проводил француза взглядом и снял трубку телефона:

— Мы, русские, обожаем свой язык настолько, что разговариваем даже во сне и все в превосходных степенях, заметьте... Все у нас «самое, самое, самое».— Он подул в мембрану, попросил: — Соедините с Климовичем... Евгений Константинович, получены приметы на нашего бессарабского друга? И что же, совпадают?

— Почти совпадают.

— Соблаговолите зайти ко мне.

Кривошеин уныло рассматривал свой сюртук, на нем не хватало пуговицы:

— Вы обратили внимание, как обносились наши солдаты и офицеры? Осень ранняя, сегодня утром был иней.

— Что мне сказать...— развел руками Врангель.— Терпение и еще раз терпение.

— Но мне негде взять даже пуговицу,— горько заметил Кривошеин.— Я ведь не могу пришить другую... А новый сюртук... Стоит ли его шить, дорогой Петр Николаевич? Что ждет армию и тылы? Триста тысяч ртов, которые вдруг окажутся в Турции, вообще вне России? Наш дефицит составляет 250 миллиардов, валюты нет совсем.

— Что вы предлагаете?

— Никакого насилия. Кто хочет остаться — пусть остается.

— Это мало что изменит. Вы не хуже меня знаете, здесь, в Крыму, находятся только те, кому с красными окончательно не по пути. Что ж, все мы пройдем свой крестный путь. До конца...

Вошел Климович, доложил с порога:

— Скуратов разгромил явочную квартиру облаcткома, взят некий Коханый. Судя по всему, крупная птица.

— Меня интересует Крупенский,— сказал Врангель.— Получается какая-то чушь, нонсенс. Мы вы-

зываем человека из Парижа, мы надеемся на него, и что же? Вы всерьез думаете, что красные смогли подменить настоящего Крупенского?

— Нет, конечно, но...— Климович развел руками.— Мы не можем отвергнуть такой вариант, пока не будет доказано обратное.

— Когда же вы надеетесь это «обратное» доказать? — с заметным раздражением спросил Врангель.

— Сегодня вечером. Скуратов возлагает большие надежды на допрос арестованного большевика.

— Держите меня в курсе дела,— попросил Врангель.— Вы свободны.— В сущности, Крупенский его больше не интересовал. События на фронте разворачивались трагически, неумолимо, неотвратимо. Сегодня уже следовало думать о том, как и на что грузить армию в случае несчастья. Тоннажа было явно недостаточно, не было масла, угля.

— Я прошу вас озаботиться немедленной доставкой всего необходимого флоту,— сказал Врангель.— Закупите в Турции.

— А валюта? — осторожно спросил Кривошеин.

— Договоритесь с послами. Я подпишу любые обязательства.

Кривошеин застегнул портфель.

— Петр Николаевич... Вместе с адмиралом Колчаком большевики расстреляли и председателя его правительства Пепеляева. Я все время думаю об этом, это гнетет меня.

— Бог с вами, Александр Васильевич,— вздохнул Врангель.— Я понимаю ваши чувства, но успокойтесь. Нам с вами грозит изгнание, может быть — позор, бесславие, нищета, но расстрел? Нет! Успокойтесь. Вас мирно похоронят где-нибудь на русском кладбище в Ницце или Вилафранке. И меня тоже. Так-то вот...

Коханый сидел в «Кисте», в камере предварительного заключения контрразведки. С минуты на минуту его могли подвергнуть усиленному допросу: выдержит ли он? Этот человек был антипатичен Марину с первой минуты. Туповато-высокомерный, с очевидно гипертрофированным ощущением собственного «я», он являл собой тот ранний тип руководителя, вознесенного волей об-

стоятельств над вчерашними своими товарищами, который до последних дней жизни Ленина вызывал его резкую и беспощадную критику.

«Коханому нужно помочь,— размышлял Марин.— Нужно что-то предпринять, сделать, чтобы вызволить его. Но если быть честным, что я могу? Номинальный помощник начальника, над которым грозно нависло тяжкое бремя подозрений. Я не могу ни вопроса задать, ни приказать, только ждать». Что-то подсказывало: ничего хорошего он не дождется. Нужно действовать немедленно, сейчас же. Марин пошел к Лохвицкой. Она сидела у раскрытых дверей балкона и смотрела на море. Свежий, уже по-настоящему осенний ветер теребил ее платье, разметал по плечам длинные волосы. На этот раз они не были уложены в ее обычную прическу: тугой огромный узел на затылке.

— Там — Константинополь, Ак-София и тишина,— негромко сказала она.— Всего двести миль, ночь пути.

— Вы решили ехать с остатками армии?

— А вы что решили?

— Мне кажется, что Коханый не надежен,— сказал он прямо.— Вы же видели и слышали, как он себя вел.

— Видела,— кивнула она.— Вас не поражает, что член вашей партии — трус?

— Я бы не был столь категоричным.

— Это уж как вам угодно, а я видела его глаза: заурядный и пошлый предатель! Однако вы не ответили мне.

— Я не принимаю вашу злую иронию. Партбилет РКП(б) — не панацея от подлости и низости. Мы снова спорим о том же.

— О чем?

— О том, что здесь, в русской армии, негодяев в тысячи и десятки тысяч раз больше! Каждый третий — подлец, но что это доказывает? Да ничего! Ровным счетом — ничего.

— Не улавливаю вашей основной мысли,— холодно сказала она.

— Боже мой, да совсем простая моя мысль. Все определяется не количеством подонков, не арифметикой! У нас идея, светлая, радостная для всех, а у вас? Вы ведь стоите у гробового входа, да и не просто стоите,

вы цепляетесь за него, вы и всех остальных хотите уволочь за собой. Ну и что, если при этом среди вас — много хороших, но заблуждающихся? А среди нас — много плохих? Важна тенденция, а она у нас и за нас.

— Блистательная лекция. Вы ее повторите Климовичу, когда ваш «плохой» Коханый расколется, как гнилое полено?

— Не знаю,— хмуро сказал Марин.

— Все решится сегодня, я думаю,— голос Зинаиды Павловны изменился. Теперь она говорила твердо и решительно: — Вам предписано сидеть дома?

— Нет!

— Прекрасно. Идите к Климовичу, напомните ему о том, что он поручил вам портовый завод. Исчезните под этим предлогом до вечера. Сюда не возвращайтесь. Встретимся у лестницы, которая ведет в ставку.

— Когда?

— Постарайтесь найти такое место, с которого видно мое окно. Увидите задернутую штору — сразу же идите к лестнице.

Марин ушел. Зинаида Павловна открыла верхний ящик комода и приподняла стопку белья. Под ней лежал маузер, подарок Климовича. Проверила магазин — он был полон, передернула затвор и поставила пистолет на предохранитель, но потом передумала и вернула флажок в боевое положение: теперь можно было стрелять сразу.

В дверь осторожно постучали, она открыла и увидела улыбающегося Скуратова.

— Мадам...— он попытался поцеловать ей руку, но она уклонилась, и он сказал: — Генерал отправил нашего общего друга в порт и приказал осмотреть его номер.

— И вы решили сообщить об этом мне? Очень мило, благодарю.

— Пожалуйста. Вам приказано сопровождать меня. Я думаю, что генералу захочется сопоставить наши впечатления, как вы считаете?

— Идемте.

У номера Марина пританцовывал горбатенький портье. Он услужливо распахнул дверь и сложился в поклоне.

— Пошел вон,— тихо сказал Скуратов.— И нишкни у меня, подлец.— Он запер двери изнутри, оценивающим взглядом посмотрел на Зинаиду Павловну.— Вы всегда мне очень нравились, сударыня.

Она ничего не ответила, и Скуратов продолжал:

— Бывают женщины, которые не шевелят во мне струны, а бывают...

— Значит, я шевелю... ваши струны? — перебила она с плохо скрытой издевкой.

Скуратов покраснел и набычился.

— Вы язвительная и злая особа, я это сразу понял, но здесь, в номере, вы, между прочим, в моей власти, и стоит мне захотеть...

— Захотите...— сказала она насмешливо.

Он сделал шаг ей навстречу, но она отскочила и сунула руку в сумку:

— Мой указательный палец на спусковом крючке маузера. В обойме — разрывные пули, на сто шагов череп разлетается на куски. Между нами, по-моему, не будет и трех шагов...

— Ладно,— он улыбнулся,— я пошутил. Чувство юмора — великое чувство, согласитесь? Приступим к делу.— Скуратов выдвинул из-под кровати чемодан, открыл. Там было белье, пара золотых погон и несколько книг. Он начал просматривать верхнюю, прочитал вслух: — «Наличное бытие есть единство бытия и ничто, в котором исчезла непосредственность этих определений и, следовательно, исчезло в их соотношении их противоречие, единство, в котором они уже суть только моменты».— Он поднял на Зинаиду Павловну голубые глаза, в них было недоумение и обида: — Это что? Какой идиот это написал?

Она взяла книгу из его рук и открыла титульный лист:

— Гегель.— И видя, что это имя не произвело на него ровно никакого впечатления, добавила: — Он одесский подпольщик. Мы его расстреляли в девятнадцатом.

Скуратов смотрел на нее с тревожным недоумением, и она видела, что он растерян и не знает: верить ей или нет. Ей стало скучно и противно. Она швырнула книгу в чемодан и захлопнула крышку.

— Вы намерены обнаружить здесь листовки больше-

виков? Тогда бы вам надо было принести их с собой и подложить в этот чемодан — очень надежный, много раз проверенный способ.

— Сударыня,— выкрикнул он,— я требую, я требую...

— Да бросьте...— махнула она рукой.— Что нам с вами, привыкать, что ли? Если у вас все, я пойду, пожалуй, голова болит.

Скуратов выдвинул ящик письменного стола, и глаза его засверкали:

— Мадам,— закричал он,— я нашел! Слушайте, это потрясающе... — Он протянул ей плотный лист белой бумаги. Она взяла его в руки, перевернула и вдруг волна щемящей нежности захлестнула ее всю целиком, без остатка. Это был портрет, ее портрет. Он был писан акварелью, тонко, в лучших традициях русского портретного искусства прошлого века. Так писал знаменитый Петр Соколов.

— Он, наверное, мечтает о вас,— теперь пришла пора поиздеваться Скуратову.— Ишь как? Старался... как этот... Репин.

А она смотрела, смотрела... На портрете у нее было робкое беззащитное выражение лица, печальные глаза. Она никогда не видела себя такой и никогда не думала, что она такая... И вдруг поняла, что Марин любит ее, любит на самом деле, ибо только любящий человек может проникнуть в глубоко скрытую сущность того, кого любит.

Скуратов взял лист из ее подрагивающих пальцев, посмотрел и снова перевел взгляд на нее:

— А вы добренькая, оказывается. То-то я удивился вашему выступлению в доме этого Акодиса. Думаю себе: гроза большевиков Лохвицкая, и вдруг — жалость. С чего бы это, думаю?

— Я могу идти? — холодно спросила она.

— Конечно. Я сейчас поеду допрашивать Коханого, потом встретимся у генерала.

Они вышли из номера. Скуратов тщательно запер дверь и послал Зинаиде Павловне воздушный поцелуй.

Она вернулась в свою комнату. Было тревожно. Она понимала, что сейчас, через несколько минут окончательно и бесповоротно решится судьба Марина. Чем ему помочь? Нечем... Она ничего не может... Разве

что умереть вместе с ним. Она отчетливо представила себе лицо Скуратова, близко-близко увидела его злобно-глуповатые голубые глаза, потрескавшиеся губы, которые он ежеминутно облизывал, и вдруг вспомнила, как он сказал: «Поеду допрашивать Коханого».

— Поеду,— повторила она вслух.

Как же так? Коханый здесь, в подвале гостиницы, зачем же ехать? И тут же снова вспомнила, что тогда там, в суде, Скуратов приказал своему унтер-офицеру везти Гаркуна в какой-то особняк на Мичманскую. Она подскочила к окну и увидела, как двое унтер-офицеров сажают в пролетку Коханого. На запястьях у него матово блеснули стальные наручники.

— Ступайте! — услышала она голос Скуратова.— Я сам.— Скуратов сел рядом с Коханым, расправил вожжи.— Э-э, залетные!

Лошади резво взяли с места. Зинаида Павловна заметалась в растерянности. Она поняла: Скуратов что-то задумал, иначе зачем бы ему понадобилось увозить арестованного из контрразведки. Она сбежала по лестнице вприпрыжку, словно гимназистка, и вылетела на улицу. Как и обычно, у подъезда гостиницы стояло множество экипажей, и она поблагодарила судьбу за то, что спасительная мысль проследить за Скуратовым вовремя пришла ей в голову. Она села в первый попавшийся экипаж, крикнула кучеру:

— Трогай и побыстрее! — И добавила уже тише и спокойнее: — Я покажу дорогу.

Лошадь резво взяла с места и понеслась вскачь. Зинаида Павловна приподнялась на сиденье и из-за плеча кучера старалась рассмотреть, что же там, впереди. Мелькали дома, прохожие. Коляска резко кренилась на поворотах, казалось, вот-вот опрокинется. Наконец, показалась пролетка Скуратова. Рядом с ним по-прежнему сидел Коханый.

— Тише,— приказала Зинаида Павловна кучеру.— Стой!

Скуратов тоже остановил лошадь и вышел из пролетки. Помог спуститься Коханому и подвел его к калитке в красивом высоком заборе из кованых прутьев. Открыл калитку и повел в глубь заросшего сада к аккуратному одноэтажному домику из красного кирпича.

— Езжай, братец,— Зинаида Павловна отпустила кучера и перешла на другую сторону улицы.

Дом отсюда был виден очень хорошо: Скуратов стоял на крыльце и вертел флажок звонка. Через некоторое время открылось квадратное окошечко и показалось знакомое лицо Стецюка. Скуратов переговорил с ним о чем-то, двери домика распахнулись, пропустив приехавших, Стецюк внимательно осмотрелся и закрыл дверь. И тогда Зинаида Павловна поняла: этот дом на Мичманской, этот сад, это все было самым тайным и самым страшным местом врангелевской контрразведки. О нем ходили легенды, но до сих пор Зинаида Павловна не встретила ни одного человека, который смог бы ей рассказать хотя бы какие-нибудь подробности. По роду своей деятельности она не имела ни малейшего отношения к раскрытию и расследованию деятельности большевистского подполья и, будучи профессионалом розыска, хорошо понимала, что любая контрразведка — это множество автономных, независимых друг от друга подразделений, работающих в обстановке строжайшей секретности. Понимала она и другое: сейчас Коханого начнут пытать, и он заговорит. Она это чувствовала и, в отличие от Марина, ни одной минуты в этом не сомневалась. Если Коханый откроет рот, Марин погиб. Она пересекла улицу, открыла калитку: на ней не было ни замка, ни даже щеколды — и решительно направилась к крыльцу. Когда до него осталось всего несколько шагов, она рассмотрела окна особняка: за тщательно вымытыми, поблескивающими стеклами чернели наглухо закрытые шторы. Она повернула флажок звонка, послышалось дребезжащее звяканье, распахнулось окошечко, Стецюк оглядел ее с ног до головы.

— Что вам нужно? — он словно видел ее впервые.

— Я — сотрудница генерала Климовича,— доставая из сумки служебное удостоверение, сказала она.— Вот, читай. Оно подписано самим начальником контрразведки. Ты же меня знаешь, Стецюк.

Унтер прочитал, вернул ей коричневую книжку с фотографией и покачал головой:

— Я имею право впустить сюда только по специальному пропуску или если... кто заявлен. Извольте по-

кинуть территорию,— он попытался закрыть окошко, но она не дала ему сделать этого.

— Вызови сюда полковника Скуратова.

— Они не велели беспокоить, не могу-с.

— Здесь есть телефон?

— Нет!

— Хорошо, тогда ступай к полковнику Скуратову и передай: десять минут назад Крупенский... Он знает, кто это... Застрелил генерала Климовича. Меня прислал сам Врангель. Ступай.

Стецюк ошеломленно уставился на нее:

— Бегу, не извольте беспокоиться.

Хлопнуло окошечко. Зинаида Павловна достала маузер, прикрыла его сумкой. Теперь все зависело от того, поверит или не поверит Скуратов ее выдумке и как среагирует: пошлет ли впустить ее или придет сам...

Открылась дверь. Видимо, Скуратов был настолько уверен в себе, что не счел нужным соблюдать мер предосторожности.

— Это правда? — он нервно чиркнул спичкой, пытаясь прикурить.

— Мы будем объясняться на пороге? — надменно спросила Зинаида Павловна.

Он сделал шаг в сторону, пропуская ее в дверь.

— Закрой! — приказал он Стецюку. Пока тот возился с засовом, Скуратов прикурил и яростно затянулся.— Ну, так что же? — от глубокой затяжки у него сел голос.— «Оказал» себя ваш Крупенский?

Зинаида Павловна поняла: сейчас все решают секунды. Стецюк стоял у нее за спиной. Скуратов — в самом начале лестницы, которая вела куда-то в подвал. Она выстрелила — разрывная пуля снесла Скуратову череп и швырнула вниз на стену. Он еще падал, переворачиваясь через голову, а Зинаида Павловна уже повернула дуло маузера:

— Не трогай кобуру, убью! Кто внизу?

— А-а-а...— лепетал Стецюк,— а-а-а-фицер Брасов, поручик.— Он сучил ногами, словно ребенок, который больше не в силах терпеть.

— Встать лицом к стене, руки вверх и на стену, теперь шаг назад! — командовала она.— Не вздумай шутить, положу на месте!

В этой позе Стецюк не представлял для нее ни малейшей опасности. Она обезоружила его и сказала:

— Опусти руки и иди вперед. Сколько здесь охраны?

— Я один.

— Кроме Брасова, кто еще внизу?

— Арестованный.

— Больше никого в доме?

— Никого.

— Если соврал — умрешь, — пообещала она.— Пошел вперед!

Проходя мимо трупа Скуратова, Стецюк с ужасом посмотрел на Зинаиду Павловну и ускорил шаг. Внизу начиналась анфилада: пять комнат подряд — все со стальными дверьми, последняя дверь была заперта.

— Постучишь, скажешь Брасову, что приехал генерал Климович,— приказала Зинаида Павловна.

— Так он ни разу здесь не был.

— Ничего. Делай, как велю.

Из-за дверей послышался животный, рвущий за душу крик и еще чей-то очень знакомый взвизгивающий голос. Зинаида Павловна могла поклясться, что много раз слышала этот голос.

— Говори, ублюдок, говори, все равно сдохнешь, только скажешь — примешь легкую смерть, а нет — проклянешь час, когда родился.— И вместо ответа — снова вопль.— Повторяю вопрос: кто такой Крупенский? Встречался ли ты с ним? Кто его послал в Севастополь?

— Не знаю, ничего не знаю, помилосердуйте, господа хорошие, не виноват я. Я рабочий, не большевик я, нет... — И снова глухие удары и крик.

— Стучи! — приказала Зинаида Павловна.

Стецюк послушно кивнул и забарабанил в двери:

— Вашбродь, генерал Климович наверху, он и полковник Скуратов незамедлительно требуют вас к себе.

Лязгнул засов, дверь заскрипела, открываясь. Зинаида Павловна подняла маузер, из-за створки высунулась чья-то голова и, не успев понять, кто это, Зинаида Павловна нажала спусковой крючок. Полыхнуло короткое пламя — голова исчезла за дверьми. Стецюк, вероятно потеряв голову от страха, бросился на

Зинаиду Павловну, пытаясь сбить ее с ног, и тогда она выстрелила еще раз — Стецюк рухнул. Она протиснулась в дверную щель и только теперь смогла рассмотреть того, кого убила. Человек лежал лицом вниз, рукава белой офицерской рубашки были аккуратно закатаны выше локтей, а мощные волосатые руки бессильно раскинулись по свежевыкрашенному полу. Какое-то неясное предчувствие толкнуло Зинаиду Павловну, наверное, она вспомнила, что голос из-за дверей показался ей знакомым. Она с трудом перевернула покойника и отшатнулась: пуля ее маузера настигла Якина. Выстрел пришелся точно в шею.

Зинаида Павловна бессильно провела ладонью по лбу, пытаясь вытереть пот, он заливал глаза. Комната, в которой она находилась, была образцовой камерой пыток. Она увидела «испанские сапоги», шприц, угли на противне, набор щипцов и на отдельном столике зубоврачебные инструменты. В специально оборудованном стойле головой вниз висел на ремнях арестованный. Она подошла к нему и подняла за волосы, хотелось увидеть его лицо. Оно было в крови, без глаз, все отекло, набрякло. Вернулась в соседнюю комнату, руки дрожали, но она все же сумела наполнить стакан водой, донести и выплеснуть на арестованного.

— Вы — Коханый? — она понимала, что вопрос этот праздный, никого, кроме Коханого, здесь быть не могло. И одежда была ей знакома, вот лицо — оно было совершенно изуродовано. Он молчал, и она продолжала: — Что вы им сказали? Что?

— Не... зна-ю,— едва слышно отозвался арестованный.

Она попыталась ослабить ремни, чтобы опустить его, но не смогла: система была слишком хитроумной, с блоками и множеством пряжек. Она медлила, хотя уже совершенно отчетливо представляла себе, что выхода у нее все равно нет и решение может быть только одно. Он не проговорился — пусть так, хотя она и сомневалась. Все равно менее чем через час здесь будут сотрудники Климовича, и тогда Коханый заговорит неизбежно, неотвратимо. Взять его с собой? Но куда, да и удастся ли увезти его, он же не в состоянии ходить.

— Прости, голубчик, я не могу иначе,— Зинаида Павловна выстрелила ему в голову.

Она вернулась к себе в номер и задернула штору. Потом, проверяя, нет ли слежки, долго ходила по улицам. Все было спокойно, и она направилась к лестнице. Марин уже ждал ее.

— Я доложил генералу о результатах своего визита на завод — он доволен.— Марин был бодр, пожалуй, даже весел. Она кивнула и бессильно прислонилась спиной к шероховатым камням.

— Как дела у вас? — спросил Марин и спохватился: — Да на вас лица нет!

— У меня все в порядке,— улыбнулась она.— Коханый ничего не сказал.

— Его допрашивал Скуратов? А если его станут пытать? Ему можно как-нибудь помочь?

— Я сделала все, что могла.

— Спасибо.

— Не за что. Книгу я сожгла.

— Спасибо еще раз. Вы ничего не хотите мне сказать?

— Я люблю вас. Послушайте, я хочу понять и ничего не понимаю: все эти дни я спрашивала себя — почему вы, благородный, мыслящий человек, служите людям, у которых нет ни чести, ни традиций, ни совести? Вначале я думала, что вы заурядный предатель, я хотела убить вас, потом я поняла, что все сложнее, гораздо сложнее. Наверное, мне никогда не преодолеть этой сложности...

— Мы преодолеем ее вместе. Утро придет. Смысл только в этом.

Она мечтательно улыбнулась:

— Ут-ро... Сегодня я видела сон: вы у меня дома, в Петербурге. Мы стоим на балконе. На другой стороне, за Фонтанкой, виден Летний сад и домик Петра. Река синяя-синяя, а стены домика желтые. Они отражаются в воде, и это так красиво... Сергей Георгиевич, запомните пароль для связи с резидентом в Харькове: «У вас не в порядке портупея, она не по форме».

— Кто он?

— Не знаю. Связь была односторонняя, на второй день ареста он подошел к дверям моей одиночки и назвал этот пароль. Я не видела его в лицо.

— Но могли увидеть? — усмехнулся Марин.— Могли...

— Когда? — удивилась она.

— Если бы ему пришлось войти в камеру и прикончить меня... Помните, когда мы говорили о Викторове?

— Помню,— она прижалась к нему и провела ладонью по его щеке.— Я благодарю бога, что этого не случилось. Мне нужно идти. Встретимся вечером.

Он больше не увидел ее: в тот же вечер она уехала. Климович сказал, что это новое, очень важное задание.

Скуратова и Якина торжественно похоронили через три дня на православном кладбище, над карантинной бухтой, за цыганской слободой. Гробы везли по кладбищенскому шоссе на орудийных лафетах, салютовали тремя залпами, отслужили панихиду в Адмиралтейском соборе. На памятнике, который установили на братской могиле, выбили надпись: «Они пали от руки большевистских агентов».

В 29-м году, когда Марин оказался в Севастополе по делам службы, он пришел на кладбище и отыскал эту могилу: памятник врос в землю и накренился. Холмика давно уже не было, все вокруг поросло чертополохом.

...Проверка закончилась, препятствий к активной работе помощника начальника контрразведывательного отделения штаба главнокомандующего больше не было. Марин получил доступ к штабным документам и досье контрразведки. По мере ознакомления с ними он пересылал наиболее важные сведения в штаб Фрунзе. Он остался в Крыму до конца. 15 ноября 1920 года войска Первой Конной вступили в Севастополь. Марина ждали два известия: комендант особого отдела Южной армии Терпигорев, который арестовал его в Харькове, был разоблачен следственной комиссией ВЧК по делу Рюна; Терпигорев сознался в том, что, будучи в прошлом офицером царской армии, добровольно вступил в войска Деникина и по поручению секретного отдела Освага создал в Харькове резидентуру белой разведки, которую и возглавил, внедрившись в органы особого отдела Южной Армии.

Марин прочитал в протоколе допроса Терпигорева и пароль, который применялся для связи: «У вас не в порядке портупея, она не по форме».

Второе известие было печальным. При переходе линии фронта Зинаида Павловна Лохвицкая была задержана передовыми постами Красной Армии и доставлена в особый отдел полка. На допросе она рассказала, что получила задание организовать диверсионную и террористическую работу в тылах Красной Армии, и, как изобличенная и сознавшаяся сотрудница врангелевской контрразведки, была в ту же ночь расстреляна. Марин прочитал протокол ее допроса. Она все рассказала подробно и честно. В самом конце ее рукой было приписано: «За последний месяц я многое поняла, многое, если не все. Изменить ничего нельзя. Жизнь сначала не начинают. Прощайте, отец и мать, прощай, Сережа. Если ты прочтешь это когда-нибудь, то знай: ухожу без обид, без зла, без отчаяния. За все надо платить. Люблю. Помни обо мне. К сему — Зинаида Лохвицкая».

Марин спросил, где ее расстреляли, и попросил показать могилу. Начальник Осо пожал плечами:

— Могилу сровняли с землей, а после по тем местам прошла Первая Конная армия. Поди найди что-нибудь.

...Марин возвращался в Москву. За окнами вагона проносились поля, заросшие бурьяном и травой, скудные деревеньки и развалившиеся полустанки. На частых остановках бабы торговали мелкой картошкой по немыслимо дорогой цене и сушеными грибами в связках. Ехало много красноармейцев, пиликала гармошка. Кто-то пел надтреснутым голосом частушки про «черного барона». Мерно постукивали колеса на стыках, мелькали столбы телеграфа, поезд уносил своих пассажиров к новой, теперь уже мирной жизни. И с каждым следующим километром уходили все дальше и дальше в прошлое корабли на Севастопольском рейде и торжественный, под медь оркестра въезд в город красных конных полков. Все терялось, исчезало и таяло, словно последний снег в конце апреля. И Марин не противился этому новому странному чувству. Время помнить, время забывать... В лихую и горькую годину пересекла его путь прекрасная женщина и подарила ему

свою любовь, свою нежность, свою дружбу. Он не сразу понял это, а по-настоящему оценил слишком поздно... Память еще хранила ее имя, ее лицо, ее глаза, но голос... Какой у нее был голос? Это он уже не помнил. О чем она мечтала, чем жила и в чем видела свое предназначение, свою судьбу — он не знал этого и жалел о том, что не узнал. Но он сказал ей однажды три заветных слова, и это осталось в нем — теперь уже навсегда. Да, не ко времени была их встреча и не принесла она им счастья. Но ведь любовь никогда не перестает...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Алексей Петрович Нагорный
Гелий Трофимович Рябов

Я — ИЗ КОНТРРАЗВЕДКИ

Редактор **О. А. Ермилина**
Художественный редактор **А. А. Орехов**
Технические редакторы **Л. Б. Чуева, И. И. Капитонова**
Корректор **Н. Д. Бучарова**

ИБ № 2484
Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Тула-У». Сдано в наб. 27.10.80 г. Подп. в печать 18.02.81 г. А06424. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,50. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1434. Цена 95 к. Изд. инд. ХД-342.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012. Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

95 к.

·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·